

Т. РАЙНОВ

**АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ
ПОТЕБНЯ**

**ПЕТРОГРАД
«КОЛОС»
1924**



БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Т. РАЙНОВ

**АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ
ПОТЕБНЯ**

ПЕТРОГРАД

«КОЛОС»

1924

Настоящее издание отпечатано
в типографии Первой Петро-
градской Трудовой Артели Пе-
чатников (Моховая, 40), в коли-
честве 2.000 экз. Петрогублит
№ 2070.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Этой характеристике Потебни не достает очень многого. И прежде всего—единства. Личность и деятельность великого ученого не связаны друг с другом так, чтобы для читателя сделалось ясным, почему и каким образом он проявил себя именно в этой деятельности, а не в другой. Я не мог сделать для читателя понятным то, чего не понял в этом отношении сам. Вероятно, в этом—доля моей вины. Но есть и независящие обстоятельства. Чтобы связать личный характер ученого со свойствами его деятельности, нужно знать его жизнь, в которой этот характер сказывается полнее всего. Между тем, о жизни Потебни мы знаем досадно мало. Как складывалась эта душа? Что волновало ее в разные периоды развития? Во что верил Потебня? Что он любил и что ненавидел? Как он вел себя в серьезные моменты своей жизни? Все это и многое другое нам—по крайней мере, мне—почти

еще неизвестно. Подробная биография великого ученого давно готовится к печати. До сих пор она не опубликована. Если, по ее выходе, в ней окажется все то, что нужно знать из жизни Потебни, чтобы понять психологию его деятельности, эта последняя предстанет перед нами в ином, более ярком, свете, чем мы видим ее сейчас. В ожидании этого, я сделал, что мог. В нижеследующем читатель найдет несколько рекогносцировок, предварительных разведок, предпринятых с разных сторон—с одной целью: дать почувствовать огромную духовную индивидуальность Потебни. Сперва я представил Потебню в ореоле растущей известности его в *широких* кругах. Затем попробовал набросать его облик, каким он рисуется при сопоставлении с одновременной *ученой* русской средой. Дальше я попытался разобраться в его *интимной* психологии, насколько о ней можно судить по имеющимся данным. В следующей главе я хотел познакомить читателя с совокупностью его идей в целом. В идейном отношении Потебня на редкость богат. В кратком очерке, на который я был обречен тесными рамками этой книжки, нельзя было и думать о сколько-нибудь полной характеристике Потебни с этой стороны. Я ограничился тем, что можно было представить в единой связи наиболее кратким образом.

К сожалению, сюда вошло очень немногое из духовного наследия Потебни. В заключительной главе мне хотелось намекнуть на обще-философское и научное значение его идей. Конечно, сказанного там недостаточно. Но я не имел возможности входить в подробности.

10 июля 1922 г.
с. Шестерня.

ГЛАВА I. — РОСТ ИЗВЕСТНОСТИ ПОТЕБНИ

Русская духовная действительность изобилует массою особенностей, трудно понимаемых европейцами и, к сожалению, далеко не всегда делающих честь русскому национальному самолюбию. Одной из таких особенностей является то, что мы сплошь и рядом начинаем любить наших крупных людей и гордиться ими лишь после их смерти. Они живут среди нас десятилетиями, как алмазы, скрытые в неблагородных породах, и мы обычно так же мало замечаем их, как эти породы замечают заключенные в их недрах драгоценности. Но стоит смерти вырвать крупного деятеля из наших рядов,—и не успеем мы забыть приличной сему, но редко глубокой печали, как начинаем радоваться тому, что покойный *жил* среди нас—и вот теперь украшает наш пантеон. И каждая значительная годовщина его грустной кончины странным образом превращается в какие-то общественные именины.

Такой была и русская судьба Александра Афанасьевича Потебни. Скромный профессор русского языка и литературы в Харьковском университете, он был долго и с почетнейшей стороны известен специалистам. В 1877 году он был удостоен Академией Наук Ломоносовской премии за первый том его главного филологического труда. В 1891 году Русское Географическое Общество, по отделению этнографии, присудило ему свою высшую почетную награду — константиновскую медаль. Несколько раз Академия Наук присуждала ему золотые медали за образцовые рецензии сочинений, представляемых Академии для премирования. В Харьковском университете Потебня долгое время был одним из уважаемых и авторитетнейших членов ученой корпорации. Но все эти признаки известности и выражения признания его ученых заслуг не выходили за узкие, очень узкие пределы круга специалистов по русской филологии и этнографии. Уже среди своих слушателей Потебня не мог считать себя популярным. Филологов в наших университетах, особенно провинциальных, всегда было немного. Но и эти немногие из числа харьковских студентов не все могли и желали научиться, чему-нибудь у Потебни. И он с грустью писал незадолго до конца своей жизни одному из своих корреспондентов, В. И. Ламанскому: «Печальная

судьба филологических знаний в России. Порою кажется, что мы идем не вперед, а назад. У нас в этом году на 1005—32 филолога, в том числе по славянорусскому отделению может быть человек 5—6, да и те не по призванию, а ради хлеба... 1). Может быть эта непопулярность вызывалась слишком специальным характером лекций Потебни? Вопрос этот естественно напрашивается, но ответ на него может быть только отрицательный. Чтения Потебни, специальные по назначению, отличались необыкновенной глубиной и широтой выполнения. Его с пользой для себя могли бы слушать и математики, и естественники, и юристы. В прекрасных воспоминаниях о нем одного из таких слушателей не-филологов, А. Г. Горнфельда, это отмечено совершенно справедливо в таких прочувствованных словах: разбирая на своих лекциях по «теории словесности» некоторые художественные произведения, Потебня, между прочим, умел с отличавшей его «душевной тонкостью», «поэтической жизненностью» и «доказывающей убедительностью» возвышать своих слушателей до «уяснения идеи бесконечности», пробуждая в их душах «веру в бесконечное без логического построения его идеи». «Нас,—продолжает этот слушатель,—охватывала эта атмосфера мышления, это волнение творчества, это мучительное счастье

стремления к истине, той *настоящей*, большой истине, нам сообщалась эта невысказанная горячая вера в будущее. В ответ на слова учителя наш внутренний мир вибрировал в том же тоне, том же тембре, в том же настроении. Мы не аплодировали—*это* было важнее рукоплесканий,—но каждый уносил домой сознание, что с ним произошло нечто хорошее, что сегодняшней день не потерян, что жить и работать еще можно—и должно»... Такова была эта теория словесности ²⁾. Таков был этот «сухой филолог» — и, однако, у него было мало слушателей. Если так было в университете, то за его стенами Потебня был и вовсе неизвестен. Его несколько публичных лекций, прочтенных в 80-х годах в Харькове, правда, привлекли сочувствие широкой публики ³⁾. Но то были случайные его встречи с этой последней. Вне Харькова, впрочем, и таких встреч у Потебни с российской публикой не было. Наша журналистика не знала о нем, а без ее содействия и самый крупный русский ученый того времени мог остаться и не раз оставался в общественной неизвестности.

Но вот 29 ноября ст. стиля 1891 года Потебня оставил наш мир. Известие об этом вызвало скорбь и сожаление в ученом мире, русском и западно-европейском. Он умер далеко не старым, всего 56 лет, не

свершив всего, на что он был способен, и не завершив любимого труда всей жизни— своих «Записок по русской грамматике». И только эта преждевременная смерть вызвала первые попытки ознакомить русское общество с понесенною им утратою. В некоторых журналах и газетах появились статьи и воспоминания о Потебне. Славист Будилович в специальном «Славянском Обзрении» за 1892 год об'явил, что эволюция частей речи и предложения, прослеженная Потебнею, «имеет в языкознании такую же важность, как учение Дарвина об изменяемости видов в науках биологических». В «Журнале Министерства Народного Просвещения» В. И. Ламанский указал в том же 1892 году, что «Харьков, вообще Украина наша, всегда может указывать с гордостью на Потебню, как на один из своих драгоценных даров нашей общей русской образованности». Б. М. Ляпунов посвятил изложению и популяризации идей Потебни прекрасную статью в «Живой Старине» за 1892 год. В том же году все эти и некоторые другие статьи и некрологи, вызванные смертью Потебни, были собраны и перепечатаны, с приложением портрета Потебни, в прекрасном сборнике: «Памяти А. А. Потебни», изданном Харьковским Историко-Филологическим Обществом. Наконец, в 1892 же году Э. А. Вольтер напечатал в издаваемом

Академией Наук «Сборнике отделения русского языка и словесности» очерк: «А. А. Потебня». «Библиографические материалы для биографии». В следующем году на страницах «Киевской Старины» появилась лучшая до сих пор работа о Потебне— Д. Н. Овсянико-Куликовского: «А. А. Потебня, как языковед-мыслитель». Благодаря всем этим попыткам популяризации и оценки, имя Потебни становится известнее, оно проникает в широкие круги мыслящих людей. Но заметим, что путь, каким сведения об одном из величайших русских ученых доходили на первых порах до русского читателя не-специалиста—был все еще путем тесным и не всем известным. Широкая публика не заглядывала в специальное «Славянское Обозрение» или в «Живую Старину». Да и «Журнал Министерства Народного Просвещения» не был из числа растространенных. Одна «Киевская Старина» читалась в 90-ые годы довольно усердно, и то больше на Украине. А толстые русские журналы на первых порах, кажется, никак не реагировали на смерть Потебни. Лишь в начале 90-х годов известность Потебни вступает в новую стадию. О нем не раз упоминал Д. Н. Овсянико-Куликовский, особенно в своих «Этюдах о творчестве Тургенева» (1894—6), многими читавшихся. Он же сделал попытку пустить в широкую публику основ-

ные филофско-синтаксические идеи Потебни в своем «Синтаксисе русского языка» (1902). В харьковском журнале «Мирный труд» около того же времени появились интересные воспоминания о Потебне. В 1901 году вышел труд И. М. Белорусова: «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни», еще более популярный, чем книга Овсянико-Куликовского. Настала пора ввести идеи Потебни в школу, и попытка, сделанная в этом отношении Б. А. Лезиным, имела широкий успех. В I томе выпущенных им в 1907 году «Вопросов теории и психологии творчества», а также во 2 выпуске II тома того же издания, содержатся статьи, излагающие и популяризирующие идеи Потебни по теории поэзии и прозы. Одновременно с выходом 2-го выпуска II-го тома этого популярного сборника появился и I-й том сочинения Н. К. Грунского: «Очерки по истории разработки русского синтаксиса», в котором много внимания уделено синтаксическим трудам Потебни. Несколько позже вышел труд А. М. Пешковского: «Русский синтаксис в научном освещении», основанный на идеях Потебни и представляющий попытку их школьного изложения. После всего этого идеи великого ученого становятся широко известными. Один из представителей русского символизма, Андрей Белый, посвятил их характеристике инте-

ресную статью (в журнале «Логос» за 1912—1913 г.), в которой доказывал, между прочим, что эстетические взгляды Потебни могут быть использованы для обоснования символизма. Впрочем, еще раньше эту же мысль, только в постановке более близкой к Потебне, высказывал А. Г. Горнфельд, один из сторонников эстетики Потебни. На Потебню создается затем даже мода, которою не преминули воспользоваться в интересах своего эстетического кодекса некоторые футуристы (напр., Хлебников). Одной из последних популяризаций идей Потебни является книжка П. А. Бузука: «Очерки по психологии языка» (1918). Все эти справки, не претендующие на полноту, имеют целью пояснить, как росла посмертная известность Потебни в России. Последним штрихом, дополняющим эту картину, является чествование недавнего 30-летия со дня смерти Потебни. Я не знаю, как оно прошло в разных уголках России, и во многих ли из них вспомнили о Потебне к этому дню,—мне известно лишь, как реагировали на этот юбилей украинская Академия Наук и украинское Советское правительство. Первая постановила учредить особый Комитет для издания сочинений Потебни, и правительство отпустило на это средства. К собранию сочинений Потебни будет приложен особый том, посвященный подробному жизнеописанию и

характеристике мировоззрения юбиляра. Правительство присвоило также имя Потебни одному из высших учебных заведений Харькова ⁴⁾. Таким образом, великий ученый лишь через 30 лет после смерти дождался общественного и официального признания своих заслуг. И, чувствуя его память, мы можем теперь поздравить себя как бы с великим новорожденным в области русской духовной культуры.

Познакомимся же с ним ближе, так как он теперь—наше общее достояние

ГЛАВА II. ПОТЕБНЯ НА ФОНЕ РУССКОЙ НАУКИ 60—80 годов.

Внешняя биография Потебни может быть передана в немногих словах. По происхождению мелкопоместный дворянин Роменского уезда Харьковской губ., Александр Афанасьевич Потебня родился 10 сент. 1836 г. Учился он, однако, в Польше, в г. Радоме, в классической гимназии, а затем в Харьковском университете, в который поступил 16 лет. По окончании курса в нем по историко-филологическому факультету в 1856 году, он некоторое время занимался преподаванием в харьковских средне-учебных заведениях и в университете, куда в 1860 году успел представить магистерскую диссертацию. В 1862 г.

Потебня получил двухгодичную научную командировку за границу, но пробыл в ней лишь год, впрочем, отлично использованный, и окончательно обосновался преподавателем при Харьковском университете, где с 1875 года получил кафедру истории русского языка и литературы, которую занимал до конца жизни. В последние годы он страдал от недомоганий, которые не позволили ему довести до конца задуманную работу по «Истории русской мысли под освещением русского слова», как метко назвал главный труд Потебни его ученик В. И. Харциев. Скончался Потебня 29 ноября ст. ст. 1891 года ⁵⁾. Таковы скромные рамки этой содержательной жизни. Первое и весьма выгодное представление о ней может нам дать сопоставление деятельности Потебни с общим характером русской науки 60—80 годов, к которым относится эта деятельность. Тридцать лет, заключенные в этих границах, в истории русской науки делятся на два «периода». Первый охватывает 60-е годы и первую половину 70-х. Второй обнимает конец семидесятых и 80-е годы.

Эпоха 60—70-х годов отличается в истории нашей науки следующими яркими особенностями. Во первых, русские ученые смело берутся за вопросы многообъемлющие, широкие и основные для соответствующих наук. Вот несколько пояснительных при-

меров этого: я возьму их из области естественных и гуманитарных наук. Русская химия 60—70 годов имеет в своих рядах таких крупных ученых, как Бутлеров, Менделеев и Меншуткин, которые, задавая тон своим ученикам, трудятся в области основных вопросов химии, разрабатывают решающие проблемы этой науки. Бутлеров создает и дает применение стереохимической теории органических соединений и тем подводит фундамент под здание органической химии. В этой же плоскости работает и Меншуткин, исследования которого, особенно относящиеся к явлению изомерии, носят столь же основной характер. Его синтетическое руководство по аналитической химии, ставшее классическим у нас и на Западе, тоже обнаруживает в нем ученого, склонного к занятию важнейшими и самыми общими проблемами своей науки. О том же говорит и его очерк истории химии и прекрасная книга о Ломоносове. К концу 60-х и началу 70-х годов относится и расцвет деятельности Менделеева, выступившего со своей знаменитой периодической системой элементов и с всемирно известными «Основами химии». В русской геологии этого времени блещут имена Вл. Ковалевского и Крופоткина. Исследования первого, относящиеся к исторической геологии и палеонтологии, касаются основных

вопросов этих наук. «Он один из первых среди палеонтологов принял эволюционную теорию и направил палеонтологическую мысль на путь детального сравнительно-анатомического изучения различных типов организации, в целях восстановления естественных генетических отношений. Поэтому он по справедливости считается основателем эволюционного направления в палеонтологии»⁶⁾. Известное «Исследование о ледниковом периоде» Кропоткина тоже касается одного из основных вопросов исторической геологии. В области биологических наук период 60—70 годов отмечен трудами Сеченова, Ценковского, А-ра Ковалевского и др. В знаменитой книге о рефлексах головного мозга Сеченов заложил основы современной нервной физиологии. Ценковский занимался изучением такого принципиального вопроса, как простейшая жизненная организация (открытие пресноводной монеры *vastru-gella*, в 1865 г.) и не менее кардинальной проблемой об отношении между животными и растительными организмами. А-р Ковалевский поставил во всю глубину и ширину принципиальный вопрос об единстве эмбриологического плана позвоночных и беспозвоночных и разрешал его в ряде знаменитых исследований, начиная с ланцетика и асцидии. Тимирязев и Фаминцын являлись в рассматриваемый период

руководящими силами среди русских ботаников. Первый из них произвел в это время свои знаменитые работы, выяснившие процесс усвоения углерода растениями и роль хлорофилла—вопросы основные, так как их решение бросает яркий свет на границу, отделяющую растения как от животных, так и от неодушевленных тел. В своих работах 60—70 годов Фаминцын поставил и пытался решить основной не только для ботаники, но и для биологии, вообще, вопрос о роли явления симбиоза в морфологии и развитии организмов. Перейдем теперь к наукам гуманитарным. Принято думать, что в 60—70 г.г. они были у нас в загоне, — мнение ошибочное. В области этих наук трудится с великим рвением и успехом много крупнейших ученых. Начнем с социологии. В этой области достаточно назвать только двоих виднейших исследователей — Михайловского и Лаврова. Их работы относятся к таким основным вопросам социологии, как теория прогресса, проблема выработки и развития личности, вопрос о выработке и первых шагах критической мысли и т. д. В политической экономии, известные «Примечания» Чернышевского к русскому переводу политической экономии Милля были попыткой не только критики, но и преобразования важнейших экономических понятий. Особенно блестяще были представлены

у нас науки исторические. Например, Стасюлевич занимался вопросами философии истории. Васильевский разрабатывал такой обширный вопрос, как социальное и политическое устройство Греции в эпоху эллинизма. Соколов обсуждал знаменитый «Гомеровский вопрос», доказывая единство великих созданий древне-греческой эпической поэзии. В атмосфере 60—70-х годов работала и блестящая плеяда «русских» историков: Соловьев, Сергеевич, Беляев, Костомаров и др. Необыкновенная широта научной деятельности Соловьева монументально засвидетельствована 29 томами его истории России (1851—1879). Классические исследования Сергеевича разбирают основной вопрос удельно-вечевой истории Руси—проблему «веча и князя», а позже вопрос о земских соборах. Беляев выступил с первым общим очерком социальной истории крестьянства на Руси. Костомаров упорно проводил в своих многочисленных монографиях 60—70 г.г. мысль о роли «народа» в русской исторической жизни, пытаясь наметить этим первый очерк социальной истории России. В истории литературы, 60—70 г.г. выдвинули таких замечательных исследователей с широким кругозором, как Пыпин, Тихонравов, Стороженко, Веселовский и др. Замечательные и колоссальные по захвату труды Пыпина, как вышедшая в 60-х годах история

славянских литератур или появившиеся позже, но написанные в духе 60-х г.г., другие его обширные труды—история русской этнографии и история русской литературы, так и его книги по истории русских общественных движений XIX века,—все это обрисовывает Пыпина, как одного из ярких представителей научного движения 60—70-х годов. Не широкие по внешним рамкам, но основоположные по методу и мастерской разработке историко-литературные сочинения Тихонравова, касающиеся истории «отреченной литературы» и развития русской драмы XVII—XVIII в.в., показывают, что наши ученые не нуждались в широких задачах, чтобы проявить присущую им широту кругозора. Превосходный шекспиролог Стороженко похож в этом на Тихонравова. Еще ярче в этом отношении А-р Веселовский. Хотя его многочисленные труды редко носят заглавия общего характера, но даже в самых специальных и детальных из них Веселовский всегда ставит и решает основные историко-литературные вопросы. Так, в ранней монографии о «Вилле Альберти» на частном материале исследуется вопрос об общеевропейском значении Возрождения. Масса работ по русской народной поэзии, по истории легенд, светских и духовных, и т. д. представляют собою подходы к обоснованию широко понимаемой

теории литературных заимствований, эволюции поэтического творчества вообще и т. д. Русская филологическая наука 60—70-х годов в том же роде. Эпоха открывается колоссальным явлением толкового словаря русских наречий Даля,—трудом, над которым трудолюбивый автор работал десятилетия, чтобы выпустить его именно в 60-х годах, в эту эпоху широких предприятий. Затем мы встречаем Колосова с его широко задуманной историей русского языка XI—XVI в.в., Ламанского и Григоровича, славистов с широкими задачами, и др. Не буду приводить больше примеров. И сообщенных достаточно для иллюстрации мысли, что существенною особенностью научного движения 60—70-х годов является широта задач, какие ставили себе ученые этого времени, несколько, впрочем, не жертвуя этой широте подробностью и глубиной разработки соответствующих вопросов.—Вторая заметная особенность науки того времени состоит в творческой синтетичности, которую проявляет мышление ученых 60—70-х г.г. Широкие и основные вопросы науки допускают разную постановку. Бывают времена, когда эта широта находит себе выражение в подведении итогов, в более или менее систематическом упорядочении известного, изученного уже материала. Но бывают и другие эпохи, когда научное мышление стремится про-

явить свою широту в открытии новых обширных перспектив, в создании новых точек зрения, не только объединяющих известные ранее факты, но проливающих на них свет с новых сторон, ставящих перед исследователем невиданные дотоле задачи. Это и есть эпохи творческой синтетичности, и наши 60—70-ые годы были из числа таких эпох. Возьмем для примера хотя бы периодическую систему элементов Менделеева. В ней известные в его время элементы не просто сопоставлены в легко обозримом порядке; они расположены так, что между ними открываются совершенно новые связи и отношения, заставляющие химика с новых точек зрения обратиться к изучению уже знакомых элементов и искать, в соответствии с системой, элементы новые. Система Менделеева не только ответ, но и чудесно сформулированный вопрос, не позволяющий мысли почить на лаврах, а побуждающий ее к новым достижениям. В том же роде и исследования В. Ковалевского по эволюции ископаемых млекопитающих и, в частности, копытных. Они открывают собою эпоху в палеонтологии, и хотя преемники Ковалевского в России и на Западе или в Америке во многом с ним расходятся, они получили от него определяющий толчок и стоят на почве его метода, который они научились применять лучше

его творца. Или вот работы Тимирязева об усвоении растениями углерода: в них не только итог известных до него и им подмеченных фактов, но обширные перспективы исследования, которым тотчас же занялись его преемники, следуя его физико-химическому методу. То же и в области гуманитарных наук. Например, колоссальный исторический труд Соловьева не был только сводкой и обработкой важнейших фактов русской истории,—это был синтез, наметивший новые вопросы и задачи, от которых затем и отправлялись у нас ученики Соловьева и даже ученики его учеников.

Такова достопамятная эпоха 60—70-х гг. в истории русской науки. Отбросим теперь силуэт научной деятельности Потебни 60—70 гг. на этот величественный фон: мы увидим, что даже на этом фоне Потебня не только не теряет, но еще выигрывает. Мы находим прежде всего, что Потебня обладал обеими существенными особенностями рассмотренного периода. Как большинство крупных русских ученых того времени, Потебня проявлял явную склонность к постановке основных, принципиальных вопросов науки. Даже в своих на вид очень «узких» работах он всегда имеет их в виду. Но, конечно, еще определеннее сказалось это в двух главных его сочинениях 60—70-х годов. Из них монография «Мысль и язык» была напечатана

в 1862 году, книга «Из записок по русской грамматике», т. I, в 1874 году. Первое сочинение имело в первом издании всего 191 страницу, но задача, которую поставил себе в нем Потебня, даже шире ее заглавия, и так, кажется, достаточно широкого. Потебня не только рассматривает здесь общий вопрос об отношении языка к мысли. Он не только набрасывает в нем первый очерк эволюции грамматических форм языка в связи с эволюцией форм познания, — он дает гораздо больше: психологию художественного и научного мышления, основанную на психологии отношений языка и мысли. И хотя далеко не все здесь оригинально, однако, не все и заимствовано. Собственная мысль Потебни обнаруживается тут самостоятельно — и в манере изложения, и в приемах исследования, и во множестве оригинальных наблюдений и выводов. И во всем этом сказывается мастер, широта задачи не вредит стройности и строгости мышления, — видно, что Потебне легко дышится на вершинах последних, наиобщих принципов научного познания. Не менее широкую задачу поставил себе Потебня во втором из названных сочинений — в отталкивающих на вид «Записках по русской грамматике». Эти «Записки» — одна из замечательнейших научных книг. Потебня занимается здесь только исследованием. Общие замечания

и пояснения встречаются не часто и отличаются лаконичностью. Мысль ученого сосредоточена на массе фактов из истории русского и некоторых славянских языков. Он старается свести их воедино, расположить их огромную массу в легко обозримый порядок и придать им смысл единством охватывающей их теории. Он заставляет их выдать ему тайну эволюции предложения, а значит—эволюции основного приема человеческого мышления, языка. И он так занят этим, что совершенно забывает о нас, читателях, и роняет мысли как бы лишь для себя, отмечая ими пульс собственной работы. Но эти мысли касаются глубоко важной проблемы о том, как, откуда и куда идет человеческое мышление в своих познавательных стремлениях, с каких точек зрения, вырабатываемых коллективным опытом, оно смотрит последовательно на мир, и к чему это обязывает мыслящего человека в настоящем и будущем. И в этом своем сочинении Потебня стоит на уровне русской науки того времени, так блистательно проявлявшей себя постановкою и удачными попытками решения задач широких и принципиальных. Разделяет он и другую особенность этой науки—ее склонность к синтетичности, ее способность объединять факты так, чтобы открывать этим новые факты и ставить перед исследователями новые глубокие

задачи. В «Мысли и языке» Потебня, следуя В. Гумбольдту, высказал замечательную мысль о том, что «поэзия» и «проза», искусство и наука суть «явления языка». Это обобщение, связывающее воедино язык, искусство и науку, нуждается, конечно, в серьезной проверке. Оно ставит перед исследованием задачу пересмотреть с новой точки зрения все относящиеся сюда факты, оно, далее, бросает свет на вопрос о художественных элементах науки и о научных элементах искусства, побуждая к пристальному обследованию этого вопроса в подробностях, по намеченному Потебнею пути. В частности, в области эстетики названное сочинение вносит новую точку зрения на проблему символического искусства и заставляет предвидеть глубокую и тесную связь между «реальным» искусством и «символическим». Короче, в маленькой книге Потебни дан глубокий синтез, ставящий перед научной мыслью чарующие перспективы новых задач и успехов. И сам Потебня, и его ученики и последователи, вплоть до наших дней, еще не исчерпали этих задач, еще не успели довести до конца их разработку,— так велик сообщенный Потебнею толчек. Такого же характера научный синтез, данный им в «Записках по русской грамматике». Он указал здесь на основное направление эволюции языка и мышления,

но обследовал его только на материале русского, некоторых славянских и литовского языков. Перед современными исследователями стоит очередная задача изучить с точки зрения Потебни эволюцию прочих языков. Другая задача открывается в пределах собственных исследований Потебни. Рассмотрев на собранном им материале эволюцию предложения, Потебня пришел к заключению, что в этой эволюции развивается не только порядок и характер сочетания основных форм речи-мысли, но и самые эти формы, т. е. «части речи»; как существительное, прилагательное, глагол и пр. И развитие это должно идти в определенном направлении. Потебня лично не мало потрудился впоследствии над разрешением конкретной истории частей речи ⁷⁾, но эта задача, как и вышесказанная об эволюции предложения во всех языках, и сейчас еще является очередной в науке. И здесь Потебня сообщил научному развитию толчек, с последствиями которого еще долго будут считаться.

Сказанное подтверждает тесную связь Потебни с основными особенностями русского научного движения 60—70-х годов. Но у него есть и ряд таких черт, которые ставят его на целую голову выше подавляющего большинства его ученых современников. Прежде всего, весьма немногие

из них могут сравниться с Потебнею в отношении необыкновенной тщательности и основательности научной работы. Широкие обобщения и теории большинства из них, сыграв свою роль первого толчка, не выдерживали в целом последующего испытания. Преемники большинства ученых 60—70 годов довольно скоро убеждались, что их воззрения нуждаются в разных поправках, дополнениях и изменениях, и редко взгляды их проходили невредимыми через испытание относительно близкого времени. Например, исследования Вл. Ковалевского об эволюции млекопитающих и, в частности, копытных, в свое время бросившие свет на многие факты и давшие толчок к дальнейшим изысканиям, впоследствии оказались ошибочными по своим заключениям, и лишь метод Ковалевского, которым его преемники научились пользоваться лучше его, сохранил свое значение и до сих пор. Превосходные работы Сергеевича, в которых он проводил мысль об исторической аналогии между развитием России и западно-европейских государств, сохраняют свое значение и теперь, но далеко не в том виде, какой был придан указанной мысли автором «Князя и веча». Были, впрочем, и исключения, напр. периодическая система Менделеева вошла в обиход последующей мысли лишь с незначительными поправками и дополнениями.

Ледниковые исследования Кропоткина и до сих пор лежат в основе геологии Европейской России четвертичного периода. В последнем роде—и исследования Потебни, относящиеся к 60—70 годам. В европейской психологии и теории познания конца XIX-го и начала XX-го века вопросами о строении мышления и об отношении его к языку занимались много и усердно. Однако, мы и по сие время не найдем в этих исследованиях ничего такого, что меняло бы в существенном итоги «Мысли и языка». Мы можем многое *прибавить* к сказанному здесь Потебнею, но ядра его мыслей, именно теории о том, что слово-мысль состоит из звуковой формы, из представления и того значения, которое символизируется, изображается этим представлением, — этой теории нет надобности оставлять и в наше время. Точно так же мы едва ли сочтем *достаточным* взгляд Потебни на искусство и науку, как на явления языка, но у нас нет никаких оснований отказываться от него, потому что, не будучи *достаточным*, он все еще представляется теперь *необходимым*. Еще, повидимому, тщательнее и основательнее работа, произведенная Потебнею в «Записках по русской грамматике», где она, вдобавок, и оригинальнее. С 1874 года прошло уже полвека, но никто еще не пошатнул выводов, к которым Потебня пришел в этом сочинении.

Больше того: никто еще не осмелился пройти вторично по всему пути, проделанному здесь Потебнею. Точно в густом тропическом лесу, он прорубил здесь широкую просеку через весь лес. Но, пользуясь этой просекой, преемники Потебни еще не пытались убедиться, по кратчайшему ли направлению она проведена. И редко у кого хватает сил и знаний повести от нее боковые просеки в других направлениях. Конечно, возможно, что со временем взгляды Потебни на эволюцию предложения окажутся неверными или не вполне точными. Но тогда как для многих ученых современников Потебни это время уже наступило, для его работ оно еще не настало. Другая характерная особенность Потебни, опять-таки выгодно выделяющая его фигуру на фоне большинства русских современников, состоит в его поразительном умении оперировать колоссальными массами фактов. Великие ученые вообще похожи в этом на великих полководцев. Наполеон или Мольтке побеждали на полях сражений не только количеством сил, которыми они распоряжались, но и замечательным искусством управлять их сложными маневрами. Откройте «Записки по русской грамматике»—и вас поразит подавляющее число фактов, привлеченных к рассмотрению Потебнею. Читая книгу, почти гибнешь под их массами. А Потебня

не чувствует никаких затруднений. Он сортирует их, выстраивает, относит то к одной, то к другой из своих мыслей, и все это не толчется перед ним, все несет известные функции, все говорит ему что-то. По этому изумительному уменью собрать и до конца использовать фаланги фактов, Потебня почти не имеет себе равных среди своих русских современников 60—70 г.г. Больше всего похожи на него в этом отношении лишь такие среди них, как Менделеев, А-р Ковалевский, Соловьев, Сергеевич и А-р Веселовский. Но от некоторых из них Потебня отличается своеобразной привычкой как бы разбивать врага только в решительном сражении. Напр. А-р Ковалевский развивал свою замечательную мысль об эмбриогенетической связи беспозвоночных и позвоночных в серии специальных исследований о ланцетике, об асцидиях, голотуриях, червях и т. д. Таков и А-р Веселовский, таков, до известной степени, и Сергеевич. Они стремятся бить врага по частям, вместо того, чтобы давать ему решительное сражение, застав его со сосредоточенными силами. Соловьев со своими колоссальным замыслом истории России и со своими 29 томами, посвященными ей, напоминал бы в рассматриваемом отношении Потебню, если бы его «История» отличалась такою же тщательною разработкой, как и «Записки» Потебни.

«Основы химии» Менделеева тоже поражают сосредоточенною энергией в распоряжении бесчисленными фактами. Но большинство этих фактов было известно до Менделеева, и первые попытки их группировки были сделаны до появления его труда. Тогда как Потебня должен был первый и собрать многочисленные факты, и дать им стройную теоретическую организацию и истолкование. В этом отношении он напоминает Дарвина, который десятки лет подбирал материалы для доказательства изменчивости видов и сумел представить их в своих сочинениях в стройно организованном виде. Наконец, последняя особенность творчества Потебни в эпоху 60—70-х годов состоит в присутствии ему и проникающем его главные сочинения философском духе и дисциплине. Его «Мысль и язык» не только психологическо-лингвистическое, но и глубокомысленное философское создание, в котором дана постановка и намечено своеобразное решение философского вопроса об участии слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе. Потебня считал, что на этот вопрос должна ответить история языка, некоторые вехи которой он лишь наметил в «Мысли и языке», чтобы заняться этим вопросом вплотную в другом своем сочинении—«Из записок

по русской грамматике». В нем вопрос решен именно на почве истории языка, причем Потебня не только указал, как менялись в плоскости языка «отношения личности к природе», но и как они должны складываться в настоящее время и в ближайшем будущем. Разрешая эту, по существу философскую, задачу средствами эмпирической науки, Потебня проявил превосходную философскую выучку мысли, умение удержаться в границах познаваемого, мудрую осторожность и в то же время смелость при обсуждении вопросов, близких к этим границам. С Потебнею можно не соглашаться по существу, но невозможно упрекнуть его в интеллектуальной некорректности, в лапидарности и грубой размашистости мысли, в недостатке той «ясности и отчетливости», величина которой в познании прямо пропорциональна философской воспитанности мыслителя. Во всем этом — и в умении ставить основные вопросы науки в глубоко-философском духе, и в замечательной дисциплинированности мышления — мало кто из наших ученых 60—70 г.г. может сравняться с Потебнею. К философствованию, правда, склонны были некоторые из них, как Менделеев, Бутлеров, Сеченов, Тимирязев и др. Но ни у кого из них не было столь отшлифованного, закаленного философского ума, какой мы видим у Потебни. У одних, как

Бутлеров, философские интересы не стояли в органической связи с интересами и задачами ученого, и Бутлеров-химик не имеет ничего общего с Бутлеровым-спиритом. У других, как Лавров, солидные философские знания и воспитанность не могли сказаться в области науки, потому что Лавров не сходил с своих философских вершин в самую гущу конкретной разработки науки. Какая разница между занятиями Лаврова историей мысли и аналогичными занятиями Потебни! В то время, как последний, руководясь определенными философскими принципами, углубился в детальное изучение и исследование фактов по первоисточникам, в чем и сказывается повадка заправского ученого, Лавров писал историю физико-математических наук, в которой работа над первоисточниками заменена по большей части работой над наличной литературой о них; а еще позже Лавров приступает к своей сводной же «Истории мысли», в которой опять сказывается больше философ, систематизирующий итоги готовой научной работы, чем ученый, добывающий их на путях эмпирического исследования. Были в эпоху 60—70 г.г. и ученые, тесно сливавшие философские задания с научными исследованиями. Таков, напр., Тимирязев. Но это было редкое явление.

Итак, накладывая творческую индиви-

дуальность Потебни в эпоху 60—70 г.г. на фон русской науки его времени, мы убеждаемся, что, плоть от плоти ее по своей склонности к широким заданиям и по творческой синтетичности мышления, Потебня высоко поднимается над ее общим, и без того достаточно приподнятым, уровнем — по необыкновенной тщательности научной работы, по изумительной способности обрабатывать и стройно утилизировать огромные массы сырого материала и по выдающейся выдержке и философской воспитанности ума.

Со всеми этими качествами Потебня вступил в следующую полосу нашего научного развития, обнимающую вторую половину 70-х и 80-ые годы. Рассмотрим теперь вкратце характер этого периода, чтобы затем сопоставить с ними научную деятельность Потебни в те же годы.

Русская наука 70—80-х годов, конечно, органически выросла из науки предшествующего периода. Но именно потому она представляет, по сравнению с ним, значительное своеобразие. Вместо ряда крупных ученых, работавших в 60—70 г.г., больше в одиночку, над созданием новых точек зрения или даже новых наук, на сцене 70—80-х годов видим дружные семьи довольно многочисленных специалистов, группирующихся около ветеранов предшествующего периода и вместе с ними раз-

рабатывающих подробно, всесторонне и с большою напряженностью очередные вопросы науки, по большей части в постановке, предрешенной предыдущими завоеваниями знания. Именно в эти годы у нас впервые появилось то, что называют «научными школами». В химии, напр., были «школы» Бутлерова и Менделеева, в зоологии—А-ра Ковалевского и Мечникова, в геологии—Докучаева, в истории—Соловьева, в истории литературы—А-ра Веселовского, и т. д. Да и в тех случаях, когда ученые не образуют школ, они охотно и дружно сотрудничают в сложных и подробных коллективных исследованиях. Например, с основанием в начале 80-х годов русского Геологического Комитета, почти все русские геологи и палеонтологи об'единились около этого учреждения на почве разработки геологической карты Европейской России. Вагнер создал аналогичный об'единяющий центр учреждением в 1887 году первой русской геологической станции на Соловецких островах, а Коротнев, несколько позже,—основанием такой же станции в Виллафранке. Русская земская статистика тоже разрабатывается коллективно - организованными усилиями массы сотрудников во главе с Чупровым, Орловым, Покровским и др. Наряду со всем этим, даже и самые крупные ученые 70—80-х годов почти перестали проявлять

тот широкий творческий размах, каким они сами или их предшественники отличались в предшествующую эпоху. Напр., Менделеев, бывший в это время в полном расцвете сил, посвятил себя разработке разных важных, но все же относительно частных вопросов химии растворов, и лишь изредка возвращался к общим и основным вопросам химии. А-р Ковалевский продолжал исследования в области эмбриологии и сравнительной анатомии беспозвоночных, в которых он стоял на почве основных взглядов, высказанных им в 60-х годах. Затем, в связи с фагоцитарной теорией Мечникова, он занялся фагоцитозом у беспозвоночных. И хотя в обеих упомянутых областях Ковалевский сделал важные открытия, однако, они были все же в готовом русле текущей научной работы и новых обширных перспектив для науки не открыли. Любопытно, что даже ученые, занимавшиеся в 80-ые годы общими вопросами науки, как-то не то воздерживались, не то не успевали опубликовать такие работы в эти годы. Например, Пыпин работал в это время над своей монументальной «Историей русской этнографии», но она вышла в свет лишь в 90-ые годы. А в течение 80-х годов он печатал разные специальные монографии о старинной русской книге, о старообрядческом синодике и т. п. Мечников, создавший в те же

80-ые годы свою фагоцитарную теорию воспаления, опубликовал ее в связи с некоторыми весьма специальными исследованиями, и только в 1892 году вышли его «Лекции о сравнительной патологии воспаления». Ключевский разрабатывал в своем знаменитом университетском курсе цельный, стройный и во многом столь оригинальный взгляд на ход русской истории; но эти лекции в печать не проникали. И только в специальных исследованиях московского историка о боярской думе, о происхождении крепостного права, о составе представительства на земских соборах и т. п.—можно найти отражения общих взглядов Ключевского.

Научная деятельность Потебни в период 70—80 г.г. до некоторой степени воспроизводит особенности научного движения эпохи. Около Потебни, мало по малу, начинают группироваться молодые ученые. Впрочем, самый выдающийся из них, Попов, рано умер. Любопытно, однако, что между учителем и учениками при этом сохраняется все же дистанция почтенного размера. Что-то мешает им подняться вполне на ту высоту, где работал учитель. Напр. Б. М. Ляпунов, одно время бывший слушателем Потебни, и о котором последний был того мнения, что «из него будет прок»⁸⁾, хотя и оправдал впоследствии это предсказание, но не в той плоскости, где

в нем мог бы сказаться вполне бывший ученик Потебни, т. е. ученый, филологическая работа которого насквозь проникнута глубоким психологическим и философским интересом. Лишь в Д. Н. Овсянико-Куликовском, А. Г. Горнфельде и некоторых других ученых Потебня приобрел сторонников, вполне проникшихся его идеями. Но эта «школа Потебни» начала складываться лишь по его смерти, в 90-е и в 900-ые годы. Лично Потебня в 70—80-ые годы, как и большинство крупных ученых этого времени, в значительной степени жил основными идеями, выработанными в 60—70-ые годы. Он, например, занимался поэтикой в духе «Мысли и языка», хотя, конечно, и развивал дальше взгляды, высказанные им в этой ранней книге. Он работал также над третьей частью «Из записок по русской грамматике», задача которой, изучение образования и развития существительных и прилагательных, была поставлена и отчасти предрешена в начале 70-х годов. Потебня жил не одним принципиальным наследием 60—70-х годов. Он старался его умножить и не только в плоскости специальной работы, но и в области принципов, широких и основных обобщений. В этом отношении особенно замечательны два главные сочинения Потебни 80-х годов. Одно из них— «Объяснения малорусских и сродных на-

родных песен»,—2 тома—он успел выпустить лично (1882—1887). Второе, составившее третью часть «Из записок по русской грамматике», было им вчерне закончено, но отпечатано лишь по его смерти—его учениками (1899). В первом из них Потебня высказал и попробовал обосновать на обширном песенном материале оригинальную историко-литературную точку зрения. Исходя из представления о том, что художественный образ есть органическая форма мысли, которая в нем живет и преемственно развивается, Потебня предложил положить в основу истории словесности исследование эволюции тех образов, в какие облекается мысль исторически. Эта интересная идея, приводящая к необходимости перестроить всю историю не только литературы, но и вообще искусства, обладает широтою размаха, в общем чуждой русским ученым 80-х годов. Не менее интересна в этом отношении третья часть «Из записок по русской грамматике». Здесь изложена замечательная теория Потебни об эволюции существительного и прилагательного из первобытного причастия, при чем всюду в ней проводится основная мысль «об устранении в мышлении субстанций, ставших мнимыми, или «о борьбе мифического мышления с относительно научным в области грамматических категорий». В основании—пояснял

эту задачу Потебня—лежит мысль, впрочем, не новая, что философские обобщения таких-то по имени ученых основаны на философской работе безымянных мыслителей, совершающейся в языке; что, напр., математика, оперирующая с отвлеченным числом, отвлеченной величиной, возможна лишь тогда, когда язык перестает ежеминутно навязывать мысль о субстанциональности, вещественности числа, а в противном случае величайший математик и философ, как Пифагор, должен будет остаться на этой субстанциональности»⁹⁾. Кроме этой основной задачи, глубина и захват которой не нуждается в пояснениях, в книге рассматривается, в связи с эволюцией имен, еще один глубоко принципиальный вопрос—о психологическом смысле и эволюции «рода», как грамматической формы. Потебня рассматривает «род», как неизбежную форму познавательной классификации вещей, и по поводу неумирающего значения родовой функции возбуждает важный вопрос, насколько современное мышление, действительно, свободно от мифологичности и антропоморфизма.

Итак, обзор главных стадий научной деятельности Потебни, в связи с развитием русской науки 60—80-х годов, показывает нам, что он во многих отношениях стоял не только в первых рядах ученых этого

времени, но многих из них превосходил совмещением в себе ценнейших особенностей ученого и мыслителя. Без сомнения, он обладал в этом отношении наивысшею одаренностью, гениальностью. И мы теперь попытаемся познакомиться поближе с этой гениальной натурою. Мы сделаем это в два приема, двумя путями. Во первых, мы попытаемся заглянуть за кулисы деятельности Потебни,—туда, где скрывается механизм его творчества. Это вопрос о психологии творчества Потебни. Затем мы бросим взгляд на то, как именно, в чем, в каких систематических завоеваниях мысли проявилось это творчество. Это вопрос о главных результатах его творчества.

ГЛАВА III. ЛИЧНОСТЬ ПОТЕБНИ.

Господствующей чертою духовного облика Потебни является своеобразное совмещение в нем черт, повидимому, противоположных до непримиримости.

Зная его, как глубокомысленного ученого, целиком посвятившего жизнь свою науке, мы ожидаем встретить в нем ту сосредоточенную серьезность, ту торжественную важность, которая составляет необходимое выражение интенсивной духовной работы. И когда один из его бывших учеников, проф. Халанский, заме-

тил, вспоминая о нем: «Всегда строгий к себе и другим, редко улыбающийся, всегда сосредоточенный — он внешним своим видом внушал почтение. Мы не знали за Потебней отклонений от правил законности, честности, правды и добра, и он казался нам олицетворением идеала в действительности»¹⁰⁾ — когда мы узнаем об этом, мы нисколько не удивлены: так оно и должно быть. Но становится немного холодно, когда созерцаешь человека на альпийских высях идеала. И вдруг чувствуешь, что повеяло чем-то «нашим», человеческим, не столь серьезным, сколь наивным, теплым, интимным. Поясняя свою теорию поэзии, как образного ответа на познавательный вопрос, Потебня любил приводить для иллюстрации ее пример ребенка, который, увидев впервые шарообразный абажур, назвал его «арбузиком»¹¹⁾. Или, обсуждая вопрос о психологии метонимического мышления, он опять приводит пример ребенка: «Мне удалось заметить возникновение ясной метонимии в умном 4-5 летнем ребенке, и я тут же записал: Алеше понравилось в гостях, ему жаль было уезжать из Харькова, и он сказал: «бедный Харьков!» — таким образом «в его выражении сказалась первообразная способность познавать себя лишь в (суб'ективной) окраске мыслимых вещей»¹²⁾. Этот Алеша, как и автор аба-

жура-арбузика, выхваченные из детской жизни со всей ее непосредственностью, бросают на строгого и сурового ученого ласковый свет, всегда лучащийся из детских глаз. Видно, что дети не были для него предметом холодного наблюдения, и он сочувственно переносился душою в их милый мир. Для этого нужно иметь в душе хотя бы уголок «вечно-детского», и у Потевни он был, мягко освещая его глубоко-серьезный облик. Таков один из тех контрастов, которыми была так богата эта удивительная душа.

Другой гораздо резче: «В этом человеке, — опять вспоминает проф. Халанский, — с виду сухом, холодном, и подчас резком, билось нежное и любящее сердце. Для его слушателей всегда была открыта дверь его дома. Студентам он никогда не отказывал в своей нравственной помощи. Тяжело больных студентов-бедняков, нуждавшихся в особой помощи, Потевня посещал на квартире, делая это так, что об этом знали немногие... Кому из бывших его слушателей случалось приезжать в Харьков, тот считал нравственною потребностью побывать у него, поделиться с ним своим горем и радостью, освежиться в беседе с ним. И к ним покойный относился замечательно тепло, с сердечным отеческим участием к их нуждам, радости и горю. Расспросам, раз-

говорам конца не было; субботние вечера в доме покойного затягивались далеко за полночь»¹³). В спорах он умел отвергать чужую мысль «неограниченно, резко, непреклонно—и в то же время так мягко и деликатно, как будто затрогивается душевная жизнь самого близкого человека» (из воспоминаний А. Г. Горнфельда)¹⁴). Нужно обладать широко раскрытой душой, большим даром сочувственного понимания, чтобы проявлять эти сокровища душевной чуткости и гуманности. Но в этой душе всегда жили и держались настороже и задатки противоположного отношения к людям, начиная от мягкого безобидного юмора и кончая беспощадным сарказмом и негодованием. В его лекциях по психологии поэтического мышления встречается следующая забавная пародия, повидимому собственного сочинения. «Государь император соизволил всемилостивейше благодарить Георгиевских кавалеров за молодецкую службу.—Министр юстиции изволил благодарить чинов судебного ведомства за ухарскую службу.—Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение.—Архиерей—настоятеля N-ой церкви за бравое и хватское исполнение обязанностей»¹⁵). Это пока лишь шутка, но она легко переходила у Потебни в

насмешливые замечания и определения. «Гипербола,—говорит он, например, есть результат как бы некоторого опьянения чувством, мешающего видеть вещи в их настоящих размерах... Если упомянутое чувство не может увлечь слушателя, то гипербола становится обыкновенным враньем»¹⁶⁾. Или, касаясь специализации труда в науке, Потебня замечает: «Специализация труда в зрелом возрасте, насколько она увеличивает успешность личной деятельности, единственный путь к возможной универсальности. Говорю *насколько*, потому что «заставь дурака богу молиться» и пр.¹⁷⁾. Особенно остроумны и злы насмешки Потебни над претенциозными потугами нарочито «научного» мышления. Тут и щелчек по адресу «того ребяческого взгляда, что наука началась с последней прочитанной книжки»¹⁸⁾, и замечание о «философском уме, который над лесом видит, а под носом не видит»¹⁹⁾, и насмешка над «замашкою» «многих ученых» «говорить от имени науки, как будто они, или некто подразумеваемый, у нее по особым поручениям, иногда вступаться за ее честь, как будто она им тетка, или сестра, или другая близкая особа слабого пола»²⁰⁾ и, наконец, выпад по адресу привычки некоторых «уверять себя и других, что общеобязательность, кафоличность у нас в кармане»²¹⁾.

Оружием саркастической насмешки Потебня умел пользоваться иногда и как тонко отточенным научным аргументом. Приводя известное мнение Белинского о всечеловечности Пушкина, о том, что он умел проникаться психологией разных времен и народов, Потебня не удостоивает его серьезного разбора, а только замечает: «На это можно сказать: «Сладки гусиные лапки»! — «А ты их едал?» — «Видал, как дядя едал»²²). Все обостряясь, эта сатирическая стихия в душе Потебни способна была подниматься до пафоса негодования. Говоря, напр., о распространенной моде обучать детей иностранным языкам «чуть не с пеленок», он разрешается гневной филиппикой по адресу родителей, которые, «как во времена «Недоросля», поручают детей Вральманам. Так из детей с порядочными способностями делаются полудиоты, живые памятники бессмыслия и душевного холопства родителей»²³). «Сам не отступавший от своих высоких идеалов, — вспоминает о подобных эпизодах проф. Халанский, — Потебня беспощадным словом меткого и сурового обличения мужественно казнил других за отступления от идеалов правды и добра. Владея богатейшим запасом слов и выражений русского народного языка, Потебня одним метким словом, кстати сказанной пословицей, мог, как говорится, уничтожить человека»²⁴).

Специально в области научного мышления Потебни контрастные переживания проявлялись в любопытном сочетании любви к наивысшим обобщениям научной мысли с величайшим, доходившим до крайности, пристрастием к единичным фактам. Нет надобности иллюстрировать особыми примерами ту любовь к обобщениям у Потебни, создавшего столько всеобъемлющих теорий. Но стоит пояснить редкостное ее сочетание с культом конкретной единичности. В своем пристрастии к фактам Потебня доходил до сомнения в том, напр., что личность человеческая — факт; она — одна из абстракций, «ибо личность, мое я, есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое мгновение»²⁵), и реальны только эти содержания. Раскрыв любое исследование Потебни, мы будем поражены, оглушены изобилием превосходно подобранных фактов, которые он приводит, иногда для пояснения одной своей «теоретической» фразы. Каждый свой шаг он обставляет подавляющей массой материалов. То, как он готовился к переводу «Одиссеи» на украинский язык, красноречиво рисует нам, как он подбирал эти материалы. Об этом рассказывает г. Русов на основании знакомства с рукописями Потебни: «Прочитав «Одиссею» в подлиннике и в переводах на разные славянские языки и возобновив таким обра-

зом в памяти те предметы, образы, положения, действия и пр. и атрибуты их, какие можно было выразить в переводе, профессор принялся за чтение образцов народной словесности и классических мало-русских писателей, известных ему также очень хорошо. В особой пачке бумаг мы находим сделанные им выборки слов, выражений, речений, какие могли бы понадобиться ему при передаче встречающихся в «Одиссее» названий предметов, действий, эпитетов, определений, характеристик и т. п. Эти выписки лексического материала с указанием на страницы книг, употребляемых для этой цели профессором, показывают, что он пересмотрел Геродота, летописи Ипатьевскую, Самовидца, многие акты, изданные Археографическими комиссиями, сборники песен и пословиц Чубинского, Головацкого, Метлинского, Номиса, Кольбера, Романова, материалы, изданные в «Записках о Южной Руси», в «Основе», сочинения авторов: Котляревского, Квитки, Гулака-Артемовского, Гребинки, Кулиша, Марка-Вовчка, Глебова, Манджуры и др. Выписок из этих книг сделано им более 2500. Они состоят или из отдельных слов, или из поставленных рядом синонимов и омонимов, ... или из сложных слов, употреблявшихся в народной поэзии рядом для известного понятия, ... или для определения предмета, ...

или, наконец, из целых речений и фраз, оказавшихся почему-либо характерными или пригодными для перевода «Одиссеи»²⁶⁾..

К этому контрасту между способностью Потебни к высочайшим обобщениям и его любовью к конкретным единичностям примыкает другой контраст. Его мышление выливалось обычно в отчетливую форму прекрасно выработанных понятий, которые он употреблял со строгим разбором и с мудрою осторожностью. В этом смысле строй его мысли и речи — обычно прозаический, прозрачный, четкий и сдержанный. Есть в нем этот чудесный лаконизм мысли, уверенной в себе и знающей свои пределы, всегда ограниченные. По верному замечанию Овсяннико-Куликовского, «Потебня писал вроде того, как пишут математики»²⁷⁾, — прибавим: классические, первоклассные математики. Но как строгое лицо приобретает чарующую привлекательность с появлением на нем легкой улыбки, так и мысль Потебни, расцветиваясь там и сям яркими образами, становилась временами высоко-художественной. Особенною обаятельностью в этом отношении отличалась его устная речь. Многие из слушателей Потебни запомнили, подобно одному из них, А. Г. Горнфельду, этот «изящный, поэтический, рельефный язык учителя»²⁸⁾. В печати

Потебня был скупее на поэтические образы и, видимо, старался, по возможности, ограничивать их употребление или наводить мат на их яркую внешность. Но и в этой поэзии под сурдинку чувствуется биение художественно-образной мысли. Вот превосходный образец этой матовой поэтичности: «Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого невошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает этим недостижимое аналитическое знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии — не только готовить науку, но и временно устраивать и завершать недалеко от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии. Но философия доступна немногим; тяжеловесный ход ее не внушает доверия чувству недовольства односторонней отрывочностью жизни и слишком мед-

ленно исцеляет происходящие отсюда нравственные страдания. В этих случаях выручает человека искусство, особенно поэзия и первоначально тесно связанная с ней религия ²⁹⁾. Так велика была у Потебни жажда художественной мысли, что, не довольствуясь ее россыпями в научной прозе, он утолял эту жажду на путях прямого художественного творчества. Потебня достигал этого, прежде всего, искусным, «художественным чтением образцов литературы» ³⁰⁾, которыми он очаровывал слушателей на своих лекциях, а затем,—работая над переводом «Одиссеи» на украинский язык. Этот перевод, замечательный по своим художественным достоинствам, хотя и далеко не доведенный до конца (из 24 песен Потебня успел перевести лишь немногим более 2½), выдерживает к своей выгоде сравнение даже и с классическим у нас переводом Жуковского. Вот место из перевода Жуковского и параллельное из перевода Потебни (Одиссей у феакийцев): ³¹⁾

В город направил тем временем путь Одиссей; но
Афина
Облаком темным его окружила, чтоб не был заме-
чен
Он никаким из надменных граждан феакийских,
который
Мог бы его оскорбить, любопытствуя выведать,
кто он.

Но, подошед ко вратам крепкозданным прекрасного града,

Встретил он дочь светлоокою Зевса, богиню Афины,
В виде несущей скудель молодой феакийские девы.
Встретившись с нею, спросил у нее Одиссей бого-
равный:

— Дочь моя, можешь ли мне указать те палаты,
в которых
Ваш обладатель божественный, царь Алкиной,
обитают?

Многоиспытанный странник, судьбою сюда из-
далека

Я заведен; мне никто не знаком здесь, никто из
живущих

В городе вашем, никто из людей, обитающих
в поле.

Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала:

— Странник, с великой охотой палаты, которых
ты ищешь,

Я укажу; там в соседстве живет мой отец бес-
порочный;

Следуй за мною в глубоком молчаньи; пойду
впереди я;

Ты же на встречных людей не гляди и не делай
вопросов

Им; иноземцев не любит народ наш; он с ними
не ласков;

Люди радушного здесь гостелюбия вовсе не
знают;

Быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бес-
страшно

Бездну морскую они, отворенную им Посидоном.
Их корабли скоротечны, как легкие крылья их
мысли.

Кончив, богиня Афина пошла впереди Одиссея
Быстрым шагом; поспешно пошел Одиссей за
богиней.

У Потебни этот отрывок читается так:

Тоді то підвівсь Одиссей, щоб до города йти;
Атена ж,

До ёго зичлива, туманом густым его оточила,
Щоб часом який з високоумних Феаків зустрі-
ривши

Нестав глумитись над ним словами та роду питати.
Коли ж уже мав уступити у город веселий,
То там зустріла ёго ясноока богина Атена,
Дивчиною молодою, з глеком в руках, обернувшись,
Стала вона перед ним, а ясний Одиссей став
питати:

«Дочко, чи непровела б ты мене до домівки мужа
Алкиноя, що тут меж сими людьми панує?

Бо я тут чужий, дознавши й потерпевши чи
мало,

Прихожу з далекого краю, тим то не знаю никого
З людей, що держать сей город і ниви сі
роблять».

К ёмуж промолвила так ясноока Атена:

«Так я ж тобі, гостю, той дом покажу, що ты
кажешь,

Бо се недалеко од чесного батька мого домівки.
Тільки ти мовчки іди (а я по переди итиму);
Не поглядай ни на кого і не питайся ні в кого,
Бо тут такі, що недуже чужих людей поважають,
Недуже то люблять витати, як приїде хто з иншого
краю.

На кораблі швидки вони лишь вповають, та моря
Пучину на них переходять: так дав ім землі по-
трясатель:

А корабли в їх швидки, як птиці крыло або
думка».

Так то сказавши, ёго повела Паллада Атена
Спішно, а вин затим пішов по слідах богині...

Бросается в глаза, что перевод Потебни, прежде всего, проще и естественнее, чем перевод Жуковского, который изобилует нарочитыми остатками ломоносовского высокого штиля и тою превыспренностью,

которая и сейчас многими считается признаком классической поэзии. Вместо напыщенного образа «несущей скудель феакийские девы», у Потебни стоит простой образ «дивчины молодой, с глеком (кувшином) в руках». Настроившись на древний лад, Жуковский переводит: «Люди радушного здесь *гостелюбия* вовсе не знают», — стих, который удовлетворил бы Шишкова. У Потебни просто: «недуже то люблять вітати, як прийде хто з иншого краю». Затем, и это главное, потому что именно в этом сказывается поэтическая индивидуальность, — образы Жуковского как-то расплывчаты, лишены полной рельефности и психологической колоритности. У Потебни они, напротив, точны, выпуклы до скульптурности и стоят в полном соответствии с сущностью изображаемого. Жуковский говорит бледно: «мне никто не знаком здесь, никто из живущих в городе вашем, никто из людей, обитающих в поле». Потебня подчеркивает, что Одисей различает не просто живущих в городе и в поле, а горожан и тех, кто «ниви сі роблять», т. е. земледельцев: выходит гораздо конкретнее. Беседа между Одиссеем и Афиной во образе девы передана у Жуковского с деланной, фальшивой простотой. Дева вызывается у него показать дом Алкиноя «с великой охотой», прибавляя, что он — вблизи дома ее отца

«беспорочного». Эта «великая охота» похожа на выстрел из пушки по воробью, если подумать, что тут речь о том, чтобы показать страннику дом, который он ищет. А «беспорочный отец» девы— опять образ фальшивый, потому что пустой: мы не соединяем никакого конкретного представления с отрицанием всех пороков, которое выражается словом «беспорочный». У Потебни все это колоритнее и правдивее: дева говорит у него с видимой жалостью к страннику: «так я ж тобі, гостю, той дом покажу, що ты кажешь», и Потебне хочется вложить в эти слова еще больше теплоты, поэтому вместо обращения «гостю», он подбирает варианты: «батьку, паноче». Готовность свою она объясняет тем, что дом «чесного батьки мого» возле дома Алкиной: эпитет «честной» не только в духе народной поэзии, но и полон определенности, которой лишен эпитет, употребленный Жуковским. Еще: корабли феакійцев у Жуковского «скоротечны»,—образ, который нелегко соединить с образом корабля, предмета, неспособного «течь» в современном смысле, а славянское «течь» нами почти позабыто в смысле «двигаться». Потебня называет корабли быстрыми—выражение точное и определенное. Еще характерная подробность: у Жуковского корабли быстры «как легкие крылья»; у Потебни этот образ

выразительнее, конкретнее: «як *птиці* крило». В общем, с некоторым правом можно применить к переводу Потебни то, что сказано в одном письме Л. Н. Толстого о Гомере в подлиннике по сравнению с переводом Жуковского³²): перевод Потебни похож на ключевую воду с соринками, ломящую зубы, тогда как перевод Жуковского напоминает дистиллированную воду. Впрочем, это говорится не столько в порицание Жуковскому, сколько для характеристики несомненных художественных элементов в даровании Потебни.

Все многочисленные противоречия, присущие Потебне, являются противоречиями лишь на первый, поверхностный взгляд. На самом же деле они обрисовывают на редкость цельную и своеобразную индивидуальность. Вообразим сосуд, заключающий горячий пар. Частицы этого пара стремятся разойтись в разные, диаметрально противоположные, стороны. Но это стремление к контрастным движениям—только выражение об'единенности всех частиц, следствие того, что они содержатся в данном объеме при одной и той же данной температуре. С повышением этой температуры способность частиц к расходящимся движениям еще более возрастает. Человеческая психика тем богаче контрастными проявлениями, чем напряженнее протекают слагающие ее процессы, чем выше

(до известной степени) душевная температура. Контрасты, которые мы находим у Потебни, говорят нам о мощной душе, о высоком напряжении духовной жизни этого человека. Он горел, он пламенел, сжигая себя яркими вспышками. И это, как сквозь транспарант, просвечивало на его лице, «красивом, благородном, способном выражать оттенки разнообразных чувств», в «живой игре его глаз»³³), в его речи «живой и увлекательной»³⁴), «блиставшей оригинальным умом и богатством продуманных, из первых рук добытых сведений»³⁵). Он был и в жизни таким, каким сохранил его в своей памяти А. Г. Горнфельд на кафедре: «С горящими глазами, с задумчивой улыбкой, с волнением человека, говорящего о «самом важном»³⁶). Оттого и недолго прожил Потебня в этом непрестанном духовном воспламенении, этой безоглядной трате души. И когда он почувствовал, что силы его иссякают, когда юмористически констатировал в одном письме: «Все плохо. По утрам кое-что ковыряю, как старуха чулок вяжет, при полном отсутствии интереса, спуская петли и роняя спицы»³⁷)— спасительная смерть избавила его от тоски бездеятельного существования, от стадии, когда мы не живем, а чадим. И он ушел от нас, оставив нам свой образ, полный жизненной трепетности, огня и света.

Люди с такими данными не любят примиряться с тем, что есть. Ведь они сами — воплощенный порыв к изменению наличного, к творческой переработке действительности. Таким был и Потебня не только как ученый, но во всем своем жизнеощущении. Он превосходно выразил это в одной своей «притче», которую находим среди его лекций по теории словесности. «На реке Удах, на песке, когда-то был общественный лес, стоял и шумел, давая тень и убежище зверю и птице, укрывая землю листом. Его срубили, частью сожгли, частью продали и деньги отнесли, для высших целей цивилизации, в кабак и казначейство. Долго еще торчали пни и задерживали на месте тонкий слой листовного перегноя; но пни выкорчевали, скот истолок землю в пыль, ветер разнес ее, дожди смыли в реку, и теперь там голый песок; не растет ни чебрец, ни полынь, и скот не забродит... Истинно философский ум должен стоять выше сожалений о шуме и тенистой зелени, успокаивая себя тем, что вещество не гибнет, но преобразовывается все в новые и новые формы, и что хотя у мужиков нет леса, а у скотины — пастбища, но где-нибудь около Таганрога мелеет от наносов море, и когда оно совсем обмелеет, там, быть может, вырастет лес лучше прежнего. Вера в совершенствование этого мира, лучшего из

миров, потому что он один только нам сколько-нибудь известен, поддерживаемая научными соображениями о возникновении высших форм органической жизни, нужная для успокоения духа, не обязывает закрывать глаза на колебания уровня жизни; и тот философский ум, который не будет жалеть о лесе на Удах, будет ум, который над лесом видит, а под носом не видит. Что было, то было, и не случиться не могло при данных условиях: но вопрос в том, точно ли эти условия всеобщие и неизменные»³⁸). Как это далеко от того идеала истинно философского ума, который выставил некогда Спиноза, и который не перестает собирать сторонников и по сие время: «Мудрый, поскольку он рассматривается как таковой, едва волнуется душой, но, сознавая по некоторой вечной необходимости себя, бога и вещи, никогда не перестает существовать, а всегда обладает истинным довольством души»³⁹). К такому жизне- и мироощущению Потебня был психологически неспособен именно вследствие своей бившей ключем жизненности, которая всегда чувствует себя лучше не тогда, когда нужно признать и оправдать мир из условий необходимости, а тогда, когда нужно его изменить.

Но как же тогда понять любовь, которую Потебня проявлял к истории, к познанию того, что было и чего изменить

уже нельзя? Вопрос сложный. Потебня, повидимому, разрешал его для себя в оригинальном понимании значения истории: «Ныне,—говорит он,—практическое значение истории состоит не в том, что она учит, как быть, а лишь в том, что она, указывая пройденный путь, избавляет от напрасной траты сил, *предостерегает, что по пройденному пути пройти нельзя*»⁴⁰⁾ (курсив мой). Кроме того, изучение прошлого показывает нам, откуда и куда, в каком направлении идет жизнь. И этим она указывает, «как человеку плыть по... течению» исторической жизни, «заменять личные идеалы более объективными, т. е. теми, которым по указанию событий суждено осуществляться в человечестве»⁴¹⁾. Взгляды эти, глубоко оригинальные и так идущие к духовному образу Потебни, каким мы его знаем, очень напоминают Маркса. У последнего непримиримость с существующей (социальной) действительностью, которая привела его к известному требованию: философы довольно понимали сущее, пора научиться изменять его, — эта непримиримость, как у Потебни, сочеталась с глубоким интересом к истории, и опять-таки и у него отсюда вытекал взгляд, что история, указывая направление «объективного» изменения вещей, определяет и нашу субъективную роль в процессе этого изменения (Потебня и Маркс вообще во мно-

гом похожи друг на друга в психологическом, а отсюда—и в идейном отношении).

При таком отношении к будущему, Потебня должен был верить в него, потому что знать вполне то, чего еще нет, нельзя. И Потебня был полон такой веры.

Он вообще считал, что «вера одна из неизменных сторон человеческой жизни. Она не иссякает, но принимает такие направления, что скрывается из глаз тех, которые ждут ее встретить в заранее определенном месте» ⁴²). Меняются объекты веры, но сама она бессмертна: «конца сущему мы не видим и не можем представить себе времени, которое бы обеднело задачами, которому нечего было бы делать». А так как, «занимая незначительную частицу мира, нельзя объять мыслью всего мира», то при решении этих задач без какой-нибудь веры не обойтись. «Если вера в личного и человекообразного бога перестанет удовлетворять мысль, это верховное начало заменится другим, таким же временным. Одно несомненно: человек с каждым шагом вперед научается более и более различать степени вероятности и оценивать средства своего ума» ⁴³). Именно постольку он научается не пренебрегать верою, как дополнением к ограниченности ума. Отсюда, в частности, и та «светлая вера в торжество разума, правды и добра, которой сам покойный

был проникнут», по свидетельству одного из его бывших учеников, проф. Халанского ⁴⁴).

В этом пункте мы подошли к интимнейшим сторонам души Потебни. Хотелось бы знать, во что именно он верил, и как. К сожалению, в настоящее время этот вопрос и многие другие, не менее интересные (например, о политических взглядах, а главное—действиях Потебни), за отсутствием *достаточно* определенных фактов, не могут быть разрешены. Но когда-нибудь они, вероятно, накопятся, и тогда наше понимание этой натуры обогатится и углубится, может быть, весьма существенно.

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПОТЕБНИ.

Обращаясь к их характеристике, заметим, что наше изложение, по необходимости краткое, не позволяет нам входить в подробности. В интересах краткости, придется опустить даже и кое-что существенное.

У всякого ученого есть своя «философия». У одних она безотчетна, у других, более крупных, всегда встречаем попытки уяснить ее себе и другим. Есть такие попытки и у Потебни, и с их лаконичной характеристики мы и начнем. Философские воззрения Потебни складывались под влия-

нием того течения немецкой философии первой половины XIX в., крупнейшими представителями которого были: В. Гумбольдт, Герbart, Лотце, Лацарус и Штейнталь. Но Потебня заимствовал у них свои идеи с некоторым разбором, так что его нельзя признать прямым последователем кого-либо из названных мыслителей. Не был он и эклектиком, так как его мировоззрение, самостоятельно проработанное под чужими влияниями, отличалось значительной цельностью.

Вот как сам Потебня формулировал основную мысль этого мировоззрения: «Вообще, все то, что мы называем миром, природою, что мы ставим вне себя, как совокупность вещей, действительность, и самое наше *я*, есть сплетение наших душевных процессов, хотя и непроизвольное, а вынужденное чем-то находящимся вне нас. В этом смысле все содержание души может быть названо идеальным. Но в этой всеобъемлющей идеальности мы различаем низшие и высшие течения: сырые материалы и продукты различной степени сосредоточенности. В тесном смысле только эти сырые материалы, наиболее субъективные, наименее выразимые, называем реальными, а мысль идеальною»⁴⁵). Сырые материалы доставляются органами наших чувств, и других материалов для суждения о мире мы не знаем. «Наитие свыше, зрение по-

мимо глаз, слух помимо ушей принадлежит к числу патологических явлений»⁴⁶). Над этим-то чувственным материалом работает наша мысль.

Ее задача состоит в том, чтобы им овладеть и сделать легко обозримым. Задача эта колоссальная, по сравнению со средствами человеческого мышления. «Перед человеком находится мир, с одной стороны бесконечный в ширину, а с другой — бесконечный в глубину, бесконечный по количеству наблюдений, которые можно сделать на самом ограниченном пространстве, вникая в один и тот же предмет. Между тем то, что называют человеческим сознанием, то, что мы не можем себе иначе представить, как в виде маленькой сцены, на которой поочередно появляются и сходят человеческие мысли, крайне ограничено. Единственный путь к тому, чтобы обнять мыслью возможно большее количество явлений и их отношений, состоит в том, чтобы ускорить выхождение на сцену и схождение с нее отдельных мыслей, и затем усилить важность отдельных мыслей¹⁾, помещающихся на этой сцене»⁴⁷). При этом работа мысли, как и вообще жизнь духа, происходит единообразно: «законы душевной деятельности одни для всех вре-

1) Это усиление важности отдельных мыслей Потебня называл «сгущением мысли в слове».

мен и народов...»⁴⁸). Так как мир, мыслимый нами, строится, собственно, в процессе его познания, а познание есть мысленная переработка данных наших чувств, то наш мир создан нами самими. Это не создание из ничего, но единственно возможное для человека создание. Притом, оно неизбежно носит на себе отпечаток своего человеческого происхождения. «Мыслить иначе, как по человечески (суб'ективно), человек не может»⁴⁹). Однако, хотя законы душевной деятельности человека и постоянны, свойства, которыми эти законы управляют, с течением времени меняются в определенном направлении, благодаря чему возможна «история мысли и ее человекообразности, т. е... история человекообразности мысли»⁵⁰). Нельзя утверждать, что одна из стадий этой истории ближе к истине, чем другая, потому что «вообще человека характеризует не знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в ее бытии»⁵¹). Однако, отсюда не следует, что человечеству наперед известно, где именно, в чем заключается общеобязательная истина. Она не есть, а постепенно создается усилиями человеческой мысли. «Истина, добро, красота входят узкими вратами. Стоило ли бы их проповедывать, и возможно ли было бы из-за них страдать, если бы они были в каком-либо отношении общечеловеческими?»⁵²). Таким образом, будучи процессом

одновременного создания и мира, и истины, история мысли в каждый данный момент выражает по-своему истину, потому что он был необходимой стадией в развитии мысли. Поэтому можно сказать, что история мысли «есть смена мирозерцаний, истина коих заключается лишь в их необходимости; что мы лишь потому можем противопоставлять наше воззрение, как истинное, воззрению прошедшему, как ложному, что нам не достает средств для проверки нашего воззрения»⁵³). Впрочем, последовательные мирозерцания выражают, по мнению Потебни, и некоторую общую линию развития. «Прогресс мышления состоит в выделении из мира (т. е. из совокупности мыслимого) свойств, вносимых нашим я, и в противопоставлении этого я миру. Чем далее от нас к прошедшему, тем слабее это выделение и противопоставление. Чем более субъективны продукты мышления, тем непоколебимее вера в их объективность»⁵⁴). Поэтому с прогрессом познания эта вера падает. Человек научается понимать субъективность своих познавательных средств и «с каждым шагом вперед научается более и более различать степени вероятности (заменяющей у него слепую веру, Т. Р.) и оценивать средства своего ума», далеко не безграничные⁵⁵).

Своеобразная особенность Потебни состоит в том, что, развивая эти взгляды на задачи

и прогресс познания, он, вслед за великим немецким мыслителем, политиком и лингвистом В. Гумбольдтом, считал, что никакая работа и развитие мышления невозможны без участия языка. Слово не только и даже не столько средство для выражения готовой мысли: оно способ, прием ее создания и разработки. Язык—это сама мысль, поставленная перед собою же, сделавшаяся своим предметом, объектом. Мысль понимает лишь то, что находится перед нею именно в качестве предмета. Она не могла бы понять и себя, т. е. сделаться сознательной, если бы не поставила и себя перед собою в виде особого предмета. Потенция блестяще разъясняет, каким образом достигает этого мысль, становясь словом, и показывает, что, благодаря слову, мысль впервые приобретает сознательность, т. е. ту черту, без которой мысль не была бы мыслью. Таким образом, самое рождение мысли обнаруживает ее органическую связь с языком. Но и на всех ступенях своего развития она не порывает этой связи. Обозначая какое-либо явление словом, мы тем самым выделяем его из бесконечного разнообразия мира, привыкаем видеть его с определенными свойствами, означенными в слове, и в одних и тех же отношениях к другим явлениям мира: благодаря слову, мы постигаем в мире постоянство, прочные зависимости, т. е. законность. Наконец,

всякое слово, выделяя данное явление в ряду других, отводит ему среди других определенное место и тем упорядочивает наши мысли, приучает нас к их систематическому распределению: значит, и систематические интересы познания определяются словом. Из всего этого ясно, что, говоря о слове, Потебня разумел также и мысль, и обратно; хотя он признавал, что во многих случаях работа мысли, коренящаяся в слове, поднимается выше сферы собственного языка.

Таково в кратких и, по возможности, существенных чертах теоретическое мировоззрение Потебни. Им определяются все его главные научные замыслы и задачи. Этим задач, собственно, две. 1. Признавая основной функцией речи-мысли познавательное воссоздание мира из сырого материала ощущений, Потебня должен был, прежде всего, выяснить, *каким именно способом происходит это воссоздание. Ответом на этот вопрос и является его теория словесности, как теория искусства и науки.* Она изложена Потебнею в книге «Мысль и язык» (1862), а также в его лекциях и заметках, опубликованных после его смерти в книгах: «Из лекций по теории словесности» (1894) и «Из записок по теории словесности» (1905). Некоторые дополнения к этим основным источникам представляют другие работы Потебни — напр.,

«Слово о Полку Игореве» (1877—1878), о «Малорусских домашних лечебниках XVIII в.» (1890), а особенно два тома «Объяснений малорусских и сродных народных песен» (1882—1887). 2. Вторая из основных научных задач Потебни вытекает из его взгляда на существование развития речи-мысли и состоит, говоря его словами, в том, чтобы «показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе»⁵⁶). Эта история развития мысли в слове изложена Потебнею в его «Из записок по русской грамматике» (I—II, 1874 г., III—в 1899 г.). Но к ней же имеют отношение и другие важные исследования Потебни, среди которых главное—«К истории звуков русского языка» (1873—1886). В нем Потебня старался разобраться в звуковой истории русского языка, чтобы сквозь ее перепитии добраться до развития мысли в языке. В этих подсобных работах и некоторых других, примыкающих к ним, Потебня по пути сделался, по замечанию академика Ягича, «основателем научной диалектологии в России»⁵⁷). Обратимся теперь к краткой характеристике того, как Потебня разрешил две главные задачи своей научной деятельности.

Итак, каким образом мысль познает бесконечное разнообразие чувственных данных, в облике которых является нам мир?

Прежде всего, художественно, поэтически, а потом и научно. Она перерабатывает эти субъективные данные, облакая их в поэтическую форму слова. Исходя отсюда, мысль поднимается затем до их научной переработки, до научного об'ективирования. Потебня выражает это так: «Если искусство есть процесс об'ективирования первоначальных данных душевной жизни, то наука есть процесс об'ективирования искусства»⁵⁸). Обосновывается это, приблизительно, так. Перед познающим—неисчерпаемое множество чувственных данных. Упорядоченное лишь внешне и формально, пространством и временем, это множество, по существу внутреннее, дано нам как нерасчлененный хаос. Мы заинтересовываемся то одной, то другой частью этого хаоса. К одним из них мы привыкаем раньше, чем к другим, и в силу этого они становятся для нас как бы понятными. Когда мы затем наталкиваемся в хаосе чувственных данных на новые пучки их, почему-либо нас заинтересовывающие, мы стараемся овладеть ими мысленно с помощью комплексов, усвоенных нами ранее. Мы достигаем этого посредством сравнения нового со старым. При этом мы замечаем, что новое, которое можно назвать неизвестным и обозначить буквою «X», напоминает нам чем-то старое; назовем это последнее буквой «А». Всматриваясь лучше, мы находим,

что «X» похоже не на «A» целиком, а на некоторую его сторону или элемент «a». В итоге, «X» перестает быть для нас вполне неизвестным: ведь мы приводим его в связь с известным, с «A», посредством элемента «a». Мы до некоторой степени знаем его, и это знание укладывается в схему: «X» похоже на «a», «X» может быть представлено, изображено посредством «a». Разберемся подробно в этой формуле. Неизвестный нам ранее комплекс чувственных данных, представляемый, изображаемый теперь посредством «a», является нам как нечто единое — именно потому, что он представлен одним символом «a». *Как* именно осуществлено в нем это единство, и *что* именно содержится в нем доподлинно, этого наш символ нам не говорит. Он гарантирует нам лишь синтетическую связность его элементов, обрисовывает их нам, как единое, хотя и неопределенное целое. Говоря, что солнце — блестящий таз, водруженный на хрустальной тверди, мы объединяем в одно целое все неисчерпаемое богатство данных, соединяемых с солнцем. Но мы не анализируем их и даже не пытаемся их себе представить во всем объеме. С помощью образа «блестящий таз» мы только собираем их в единый пучок. Если от этого синтетического, хотя и не расчлененного, единства данных, изображаемых, представляемых символом, мы перейдем к этому

последнему, то заметим, прежде всего, что символ, обозначаемый буквою «а», никогда не равен изображаемому, представляемому им. В мыслимом при его посредстве содержание всегда богаче, чем в нем самом. А нередко содержание символа взято из области, качественно иной, чем содержание того, на что он указывает, и что Потебня часто называет «значением» образа или символа. В виду этого последнее никогда не изображается символом прямо и точно, а лишь косвенно и приблизительно. Особенность символа еще в том, что он всегда конкретен и единичен, и, наконец, в том, что он отличается относительным постоянством. Постоянство символа не исключает, впрочем, значительной эластичности в его применении. Вглядываясь лучше в содержание символизируемого, мы научаемся видеть в нем многое, чего раньше не видели. Это, однако, не заставляет нас отказаться от прежнего символа или образа. Приходится давать ему все новые применения, которых он может в конце концов и не выдержать. Но пока он выдерживает их, он жив и плодотворен.

Однако, познавательная потребность не может быть удовлетворена полностью на этом пути, — пути художественного, поэтического познания. Искусство — только начало премудрости. Его дело продолжает

наука. Она исходит из достижений искусства, из тех синтетических единств, из тех чувственных целых, которые искусство фиксирует с помощью символов или образов. Эти единства, мы видели, не анализированы. Мы не знали ни того, что в них действительно содержится, ни того, как в них сочленены их элементы. За этот анализ и берется наука. Основное ее отличие от искусства в том, что к синтезам, добытым художественно, она подступает без помощи символов, образов. Для нее это возможно только потому, что искусство уже добыло эти синтезы посредством своих символов. Но наука не вольна дойти до постижения художественных синтезов простым устранением посредствующих символов. Надо иметь достаточное основание для их упразднения. Потебня представляет себе это основание в двух видах. Либо образ, символ, созданный при первоначальном знакомстве с познаваемым, оказывается несовместимым с теми сведениями, какие дает нам о познаваемом последующее, более обстоятельное ознакомление. Либо же этот образ становится настолько бледным, бессодержательным по сравнению с изученным лучше содержанием познаваемого, что перестает напоминать о нем, представлять его. В обоих случаях образ отпадает, и мы в преддверии прозы или, что то же, науки. «Тогда слово теряет представление (сим-

вол, образ, Т. Р.) и остается лишь звуковым посредником между познаваемым или объясняемым и объяснением (первообразная форма прозы)»⁵⁹). «Прозаичны — слово, означающее нечто непосредственно, без представления (образа, Т. Р.), и речь, в целом не дающая образа...»⁶⁰). Познание теперь стоит лицом к лицу с теми синтезами, которые подготовило искусство. Но лишившись тех образов, которые придавали этим синтезам какое ни есть единство, научное познание в своем анализе роковым образом от этих единств уходит. Оно не может анализировать их иначе, как разбивая их на элементы, т. е. разрушая единство. Солнце, напр., в художественном восприятии — некоторое, хотя и неопределенное единство. Для науки солнца, как чего-то единого, нет, потому что нет и науки вообще. Астроном видит в нем массу, вращающуюся вокруг оси и одновременно уносимую куда-то в пространство поступательно. Физик принимает солнце за резервуар и машину энергии. Биолог рассматривает солнце, как источник растительной, а через нее и животной энергии, как фактор климатический и т. д. И все это, хотя и относится к «одному и тому же» солнцу, но между собою не связано, не образует единства. Таково первое следствие того, что наука познает без посредства образов, без сим-

волов. Другое состоит в том, что, дробя данные ей синтезы на элементы, она не в состоянии сохранить конкретность даже и за этими элементами. По мнению Потебни, наука всегда стремится к обобщению. В частном она видит общее. Поэтому частность, как частность, исчезает из ее кругозора. Она становится только иллюстрацией, только примером общего. Строго говоря, наука не знает фактов, объединенных теми общностями, которые она называет законами. «Я хочу сказать,—поясняет эту мысль Потебня, — что в... примере «птица имеет симметрическое строение тела» факт, подтверждающий это обобщение, есть не все понятие о птице, не все, что можно заметить о ней, а только та доля понятия о птице, которая вошла в наше обобщение и возникла одновременно с нашим обобщением. Обобщение состоит в том, что мы в факте оставили только то, что вошло в обобщение» ⁶¹). Таким образом, конкретные факты в науке растворяются в отвлеченных общностях, в законах, с которыми они отождествляются. «Общая формула науки есть уравнение: факт=закону. Что не подходит под нее, есть заблуждение, ведущее к отыскиванию нового тождества» ⁶²).

Однако, наука лишь стремится к этому. В фактах есть нечто конкретное, не поддающееся абсолютному превращению их в

отвлеченную общность. Эта конкретность— остаток той, которая присуща всему, добываемому искусством. И искусство, создавая для дальнейшей научной переработки все новые и новые конкретные синтезы, не перестает питать науку фактами, не могущими окончательно перейти в форму отвлеченных законов. Таким-то образом, «без постоянного нарушения и восстановления закона тождества не было бы человеческой науки; как если бы равновесие, спокойствие было не стремлением только, то не было бы жизни с ее ростом и уменьшением»⁶³). Эта «жизнь» в науке возможна только благодаря непрестанному вмешательству искусства. И с другой еще стороны не обойтись ей без искусства. «Наука раздробляет мир, чтобы снова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия (вообще искусство, Т. Р.) предупреждает это недостижимое аналитическое знание гармонии мира: указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку по-

требности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии не только готовить науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от земли возведенное ею здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии. Но философия доступна немногим; тяжеловесный ход ее не внушает доверия чувству недовольства одностороннею отрывочностью жизни и слишком медленно исцеляет происходящие отсюда нравственные страдания. В этих случаях выручает человека искусство, особенно поэзия и первоначально связанная с нею религия»⁶⁴). Так искусство и науки осуществляют, переплетаясь, задачу познавательной переработки чувственной действительности. В результате переработки над этой последнею возводится новый мир, «идеальный», по выражению Потебни, мир мысли художественной и научной. На его отличии от чувственной действительности Потебня особенно настаивает: «мысль, все равно, художественная или научная, так же не может быть тождественна с действительностью, как спирт и сахар с зерном, картофелем и свекловицей. Требование, чтобы искусство было подражанием природе, т. е. той же действительности, похоже на требование, чтобы высшие организмы питались не сосредоточенной пищей и не химическими продуктами, а как земляные черви —

даже больше: чтобы при питании не было претворения веществ в более тонкие и нужные, т. е., чтобы самого питания не было. Если бы это требование было исполнено, оно было бы бесцельно, ибо зачем подражание, когда есть сама природа? Толки об объективно прекрасном и также о том, что и жизнь со своими мелочами—такой художественный факт, что неумелая художественность скорее ослабляет ее впечатление, чем концентрирует его..., основаны на *qui pro quo*. Если жизнь (природа, действительность) есть художественный, то она же и научный факт. Таким образом приходим к ненужности науки. Но действительность в смысле низших сфер душевной деятельности человека, соответствующих душевной деятельности животных (т. е. действительность наших чувственных ощущений, Т. Р.), ни художественна, ни научна»⁶⁵). Тою и другою делает ее впервые познавательное творчество человека.

Мы рассмотрели, как Потебня разрешает первую из двух главных задач своих научных исследований. Перейдем теперь ко второй из них, — к тому, каково участие речи-мысли в смене теоретических отношений к действительности. Перерабатывая данные этой последней в искусстве и в науке, человеческая мысль не остается во все время этого процесса одной и той же по своим основным склонностям. Она обна-

руживает стремление к изменению в строго определенном направлении. Последнее определяется тем, что наша мысль стремится подняться над непосредственной, чувственной данностью и возвыситься до возможно наибольшей отвлеченности. Мы уже видели, как это стремление выражается в искусстве и в науке. Но мы можем проследить его и в развитии тех элементарных функций речи-мысли, которые называются грамматическими категориями, в частности — в развитии частей речи. Еще в «Мысли и языке» Потебня предначертал программу исследований в этой области, которые он впоследствии выполнил в трех частях «Из записок по русской грамматике». В этой программе мы читаем: «слово в начале развития мысли не имеет еще для мысли значения качества и может быть только указанием на чувственный образ, в котором нет ни действия, ни качества, ни предмета, взятых отдельно (т. е. ни глагола, ни прилагательного, ни существительного, Т. Р.), но все это в нераздельном единстве... Образование глагола, имени и пр. есть уже такое разложение и видоизменение чувственного образа, которое предполагает другие, более простые явления, следующие за созданием слова»⁶⁶).

Процесс разложения чувственных образов и образование частей речи Потебня проследил на развитии русского и род-

ственных ему (славянских и литовского) языков, лишь изредка приводя аналогии из других языков. Но он надеялся, что этот процесс, при всех его индивидуальных изменениях, может быть прослежен во всех языках, по крайней мере новых. Началось разложение чувственных образов, насколько мы можем заметить, с образования слов, в которых современные нам функции главных частей речи, имен и глаголов, еще смешаны. Потебня называет эти слова «первообразными причастиями». С самого начала, однако, эти причастия, в которых, как в зародыше, были заложены будущие функции имен и глаголов, сбились больше на имена, чем на глаголы. Они были лишены таких существенных признаков глагола, как время и залог. Напротив, имя существительное они напоминали тем, что, изображая, подобно современному причастию, признак, произведенный деятельностью предмета (как в форме «битый»), они почти исключали мысль об этой производящей деятельности и представляли признак как бы уже произведенным, готовым, данным. Так это и в современном существительном, с тою разницей, что в последнем даже намек на деятельность, производшую признак, сплошь и рядом вовсе исключен. Потебня не утверждает, что первообразное причастие было *первой* грамматической формой. Такой он

считал междометие, но причастие, являющееся позже, было наиболее ранней из форм, начиная с которых можно более или менее явственно проследить развитие современных частей речи. Это развитие и началось в том направлении, в каком было предрешено строением первообразного причастия. Похожее скорее на имя, чем на глагол, оно и выделило из себя, прежде всего, имя. Это было, именно, существительное, грамматическая категория субстанции. Потебня настаивает на том, что грамматическая субстанция, ядро раннего существительного, отличается от позднейшей «метафизической». «Грамматическую субстанцию,—говорит он во II ч. «Из записок по русской грамматике»,—следует отличать от метафизической. Последняя есть вещь сама по себе, отдельная от всех своих признаков и представляемая недоступной никакому разложению и исследованию причиною появления этих признаков в нашем сознании. Грамматическая вещь несравненно древнее такого понятия. Она есть совокупность признаков, совершенно однородных с тем, который может быть этимологически дан в существительном, более тесно связанных в мысли между собою и со словом, чем с другими признаками»⁶⁷). Впрочем, в тексте Потебня не всегда выдерживает это различие между грамматической и метафизической суб-

станцией. И соответственно этому в III-ей части «Из записок» различие между ними, в сущности, исчезает, сведясь к различию степени ясности, определенности. Грамматическая субстанция содержит *implicite* и неотчетливо то, что *explicit* дано в субстанции метафизической⁶⁸). На первых ступенях развития мысли, в которой господствует категория существительного - субстанции, мир представляется совокупностью самодеятельных и, по нашему личному образу, одушевленных сущностей, внутренне неизменных, но действующих и тем вызывающих изменения во-вне.

Однако, выработав эту категорию, наша мысль не оставляет ее в дальнейшем без всяких изменений. Изменение происходит, притом—в двойном смысле. *Во первых*, из существительного выделилась новая грамматическая категория—имя прилагательное. Обозначая известное содержание не как самостоятельную сущность, а как признак, заключенный в данной сущности, эта категория приводила к сокращению числа тех случаев, на которые ранее распространялась категория существительного - субстанции. Роль последней постепенно суживалась. *Вдобавок*, и в этом суженном кругу категория существительности стала со временем применяться в новом, изменившемся виде. Изменение это состоит в том, что существительное постепенно формализирова-

лось. Привычка мысли во всем усматривать субстанции привела к тому, что категория существительного распространилась на вещи, которые, не будучи одушевленными сущностями, невольно, хотя и неловко, представлялись такими. Например, на этом пути возникли существительные вроде «белизна», «равенство» и т. п. Они могли быть не реальными, а только фиктивными субстанциями. Подобные случаи наталкивали на формализацию существительных, на привычку видеть в них не сущности вещей, а только неизбежную форму, под которою вещи мыслятся нами. Этот процесс формализации, продолженный достаточно далеко, привел, напр., в наше время к тому, что, употребляя сплошь и рядом существительные, мы не думаем непременно о каких-то неизменных духовных сущностях, а лишь о чем-то, несущем определенные функции в предложении, а именно— о совокупностях признаков, представляемых в речи, как подлежащее или дополнение.

Пока происходило все это нарастание, а затем внутреннее умирание субстанциального взгляда на мир, в недрах языка-мысли назревали семена будущего, готовилось и совершилось проявление новой категории мысли, глагольности. Повидимому, глагол выделился из первообразного причастия не позже существительного. Но в эпоху господства последнего глагол почти

не отличался от него. Наиболее ранняя, по мнению Потебни, форма глагола, это — инфинитив (неопределенное наклонение). А инфинитив был сперва существительным и лишь впоследствии перестал быть им. Впрочем, в некоторых языках, как немецкий, он и до сих пор легко возвращается в стадию существительности: для этого достаточно присоединить к нему родовую частицу. Но переход от существительности к глагольности, однажды проделанный, не мог остаться без дальнейшего развития. Дело в том, что существительное, наиболее ранняя самостоятельная категория, в то же время всего ближе к первоначальной чувственной конкретности и наглядности мысли. В своем стремлении к наибольшей отвлеченности мысль не могла удовлетвориться этой слишком «наглядной» категорией. Имя прилагательное, ставя перед нами не сущности, а лишь признаки сущностей, уже менее наглядно, более отвлеченно. Глагол еще отвлеченнее. Он обозначает действие, процесс, нечто, чувственно не воспринимаемое: ведь у нас нет органа чувств для восприятия движений, изменений, деятельностей и пр. Инфинитив, начальная форма глагола, именно благодаря своей близости к существительному, ослабляет ту энергию отвлеченности, которая заключена в глаголе. Поэтому, в дальнейшем своем развитии глагол должен был превзойти стадию ин-

финитива. Следовало выработать такую форму, которая, обозначая действие, могла бы выражать все его оттенки: кто, как и когда действует. Без лиц, залогов и времен инфинитив на эти вопросы не отвечал. И он должен был уступить свое место индикативу (изъявительному наклонению), который превосходно выражает все оттенки действия лицом, залогом и временем. В некоторых языках инфинитив почти вытеснен индикативом. Потебня убежден, что к этому идет дело и в других языках (мнение, встретившее серьезные возражения). Во всяком случае, господствующая роль индикатива во всех новых языках не подлежит сомнению.

Дальнейшая история глагола — история вытеснения им существительного из тех мест, где его мог заменить глагол. Долгое время в предложении существовал своеобразный симбиоз глагола и существительного, в роли составного сказуемого. С усилением глагола этот симбиоз прекращается. Потебня показал, что составное сказуемое — форма отмирающая. Чем дальше, тем больше союз субстанции с действием заменяется одним действием, потому что составные сказуемые с течением времени уступают свое место простым, чисто глагольным. Становясь автономным в роли сказуемого, глагол стремится далее вытеснить существительное даже из подлежащего. Вырабатываются предложе-

ния, лишённые подлежащего, предложения бессубъектные. Раньше говорили «Перун, Зевс гремит». Теперь говорим просто и безлично: «гремит». Мысль от этого не теряет в ясности. И это достигается исключением существительного и господством чистой глагольности. Бессубъектных предложений еще сравнительно мало. Но мы идем к ним. Вообще, все это, говорит Потебня, указывает на увеличение силы притяжения глагольного предиката в ущерб силе субъекта и объекта (т. е. подлежащего и дополнения, выражаемых существительным) ⁶⁹). Возрастающее значение глагольности в речи-мысли имеет двойкий смысл. Во первых, он знаменует вытеснение категории субстанции категорией действия, процесса, силы, энергии; все это у Потебни равнозначные понятия. И делается это не одним или немногими лицами, а массою. «Труды обособившихся наук и таких-то по имени ученых являются здесь лишь продолжением деятельности племен и народов. Масса безыменных для нас лиц, масса, которую можно рассматривать, как одного великого ученого, великого философа, уже тысячелетия совершенствует способы распределения по общим разрядам и ускорения мысли и слагает в языке на пользу грядущим плоды своих усилий» ⁷⁰). Стихийный коллективный ход мысли заставляет нас покидать точку зрения неизмен-

ных субстанций во имя идеи процесса, изменения. И мир должен раскрываться перед нами, как мир всеобщего течения, универсального изменения. Таков, прежде всего, смысл возрастания роли глагольности. Но это еще не все. Потебня показывает, что благодаря ему происходит еще «увеличение связи и единства предложения» ⁷¹). Предложение—микрокосм мысли. Каково строение предложения, таково и строение мысли. Когда предложение, слабое глагольным элементом, изобиловадо субстанциями, оно было лишено надлежащей связности и единства. Ведь субстанции — самостоятельные сущности; невозможно спаять их воедино, не жертвуя их самостоятельностью. Мир, отражавшийся некогда в субстанциальном предложении, был поэтому миром бессвязным и плохо об'единенным. Не таков мир оглаголенного предложения. Все в нем об'единено принадлежностью к единому процессу, выражающему в космическом масштабе безусловную гегемонию глагола в предложении ⁷²).

Потебня—мы знаем—не считал позднейшую стадию в развитии мысли более истинной только потому, что она позднейшая. Она потому кажется нам истинной, что у нас нет еще средств убедиться в ее несовершенстве. Когда мы в этом убеждаемся, мы переходим на новую точку зрения. Это происходит всегда стихийно, многоголосно,

усилиями огромных масс. Будущее не закрыто для таких перемен тем, что теперь в нашей мысли главенствует категория глагола—процесса. «Если мир, как мы верим, неисчерпаем для познания, и если верно, что не может быть найдено пределов лексическому развитию языка, то нельзя назначить и черты, ограничивающей количество и качество возможных в формальном языке категорий»⁷³). Значит ли это, что мы обречены стремиться к недостижимой истине? Вспомним, что, по мнению Потебни, мы *создаем* истину в самом стремлении к ней. И значит—у нас всегда есть истина, пока мы, стремясь к ней, будем творить ее.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Есть великая красота в этом исповедании творимой истины. Прав был Потебня или ошибался, он, во всяком случае, был последователен. Выставить в молодости грандиозную программу. Трудиться всю жизнь над ее выполнением. Вскопать ради этого нетронутые толщи фактов. Не погибнуть под их подавляющей массой. И сделать их в конце концов монументальной одеждой юношеских видений,— не всякий на это способен. И особенно — у нас, в стране бесчисленных начинаний, оста-

ющихся без продолжений. У нас, производящих в изобилии ученых, не способных подняться над землею, и философов, гнущихся черной работой под землею.

Но и при всем том—не грешит ли Потебня провинциализмом? Широкий поток Волги ответвляет от себя многочисленные «воложки», рукава, теряющиеся среди мелей, заносимые песками, образующие тихие затоны, затем озера, переходящие незаметно в болота. Усилия мыслителя, при всей его одаренности, могут иногда довести тоже лишь до своего рода болота, если его мысль оторвана от главного течения мировой мысли. В каком русле двигалась мысль Потебни?

Многочисленными путями философские воззрения и научные изыскания Потебни восходят к классическому периоду немецкой идеалистической философии.

С ним Потебня мог быть знаком и непосредственно, из сочинений корифеев немецкого идеализма, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Но уж наверное он был знаком с некоторыми из этих воззрений через посредство сочинений В. Гумбольдта, одного из замечательнейших, хотя и не во всем правоверных, представителей того же классического немецкого идеализма. В философском отношении Гумбольдт был очень близок к Шеллингу, которого напоминал в частности и своим интересом к вопросам

философии искусства. Но в отличие и от Шеллинга, и от многих других представителей классического идеализма, Гумбольдт был не только и не просто философ, но и ученый и крупнейший государственный деятель. Последнее мы оставим в стороне. Но ролью Гумбольдта, как одного из величайших немецких ученых конца XVIII-го и первой половины XIX века, мы здесь никак не можем пренебречь. И не только потому, что своими знаменитыми исследованиями по сравнительному языковедению он опередил во многом соответствующие воззрения Потебни, но и потому еще, что к философии немецкого идеализма, дух которой он в общем разделял, он относился как практик-ученый. Для него было несомненно, что искусство и наука суть последовательные стадии в развитии самоуясняющегося духа. Но языковеду, каким был Гумбольдт, нечего было делать с этим духом во всей мощи его космических проявлений.

Он знал, прежде всего, что искусство и наука суть человеческие деятельности, а затем и то, что они даже осуществляются в форме слова. Низводя таким образом основную проблему идеализма с философских небес на научную землю, Гумбольдт наметил общие очертания теории искусства и науки, как явлений человеческого сознания, развивающихся в слове, в языке.

Не перестав быть ни идеалистом, ни эволюционистом, ни рационалистом, Гумбольдт придал всему этому порядку идей более позитивную форму и постановку, допускающую дальнейшую работу мысли на путях языковедения.

На этих-то путях Гумбольдт и создал научно-философскую школу, одним из крупнейших представителей которой был у нас Потебня. Но Потебня выступил на научно-литературном поприще в 60-ые годы. А последнее и крупнейшее сравнительно-лингвистическое исследование Гумбольдта: «Ueber die Kawisprache auf die Insel Java» появилось в конце 30-х годов. За тридцать лет, протекшие с этих пор до появления «Мысли и языка» Потебни, в европейской философской мысли произошло не мало изменений. Эти изменения в занимающей нас связи сказались, между прочим, всеобщим упадком интереса к учению об идеальном *абсолютном* сознании. Мыслители, задумывавшиеся об явлениях духовной жизни, по разным причинам стали интересоваться ими в их индивидуально-психических проявлениях. Не всеобщий, а *личный* дух сделался предметом их анализа и теоретических построений. Именно в это время были заложены основы современной индивидуальной психологии. Но, конечно, наиболее чуткие представители этой эпохи философского психологизма не могли же

отрицать наличия в нашем сознании элементов сверхличных, указанных Кантом и возведенных в ранг абсолютного сознания немецким идеализмом. Эти элементы остались, но были поняты существенно иначе, чем у Канта и его ближайших преемников. Более или менее сверхличным было признано именно мышление, об'единяющая, организующая функция сознания. И сверхличность ее основали не на том, что она обнимает все индивидуальное сознание, а на том, что она вырабатывается и разрабатывается коллективными усилиями людей, в недрах социальности. Крупнейшими представителями этого философского психологизма в Германии, где получил свое философское воспитание и Потенбня, были Беннеке, Лотце, Лацарус, Штейнталь, Вайц и др. В частности, Лацарус и Штейнталь были основателями той школы социальной психологии, органом которой и был созданный ими же «*Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft*» (с 1860 г.), и которою уделялось много внимания разработке языкознания в духе Гумбольдта.

Потенбня унаследовал проблемы, волновавшие классический, немецкий идеализм и, в частности, В. Гумбольдта, в постановке философского психологизма 40—50-х годов. И таким-то образом он поставил себе задачу проследить об'ективирование чувственных данных личной душевной

жизни посредством работы коллективной речи-мысли, возводящей их в ранг искусства, а затем науки, как последовательных форм человеческого познания. На этом пути, обусловленном давним развитием широких течений европейской научной и философской мысли, он и создал свою теорию поэзии и прозы, искусства и науки. Разработка этой теории, основы которой заложил еще Гумбольдт, принадлежит всецело Потебне. Я не могу вдаваться в разбор этой теории с точки зрения последующего развития научной и философской мысли, тем более, что в этом отношении она далеко еще не сказала своего последнего слова. Замечу только, что в теории поэзии и науки Потебни есть несколько сторон, вызывающих к себе в настоящее время различное отношение. Психологизм Потебни, его убеждение, что в искусстве и в науке наша мысль работает над материалом чувственных данных, не перестает быть и в наше время одним из распространеннейших воззрений. Но оно встречает и многочисленные возражения, смысл которых тот, что мысль наша имеет дело не с субъективно-чувственными данными, а самую объективную действительность, и работает она здесь, особенно в плоскости науки, не объединяя субъективный материал, а постигая непосредственно или косвенно эту объективную действительность,

с заключенными в ней единствами. Роль мысли или, точнее, воображения в создании искусства остается и при этом взгляде такою же, как у Потебни. И тогда как Потебня и родственные ему научно-философские течения, благодаря свойственному им психологизму, связывают в одну стройную теорию искусство и науку, представители противоположного, антипсихологического направления должны исследовать их порознь. С известной точки зрения, такое разделение может оказаться минусом. Другая сторона теории поэзии и прозы Потебни состоит в том, что, связывая в ней искусство и науку, он делает искусство орудием познания и в этом видит основную его функцию. Этот эстетический рационализм точно так же вызывает в наше время двойственную оценку. Одни, как Фолькельт, Христиансен, Бергсон и др., в общем, сочувствуют ему. Другие, как, напр., Липпс, Коген и пр., считают его заблуждением и думают, что искусство не средство познания, а совсем особая, самостоятельная духовная функция. Наконец, теорию поэзии и прозы Потебни можно рассматривать и как оригинальную по методу попытку психологии мышления. Психология второй половины XIX в., да отчасти и наших дней, изучает мышление, как голую функцию, оторванную от тех конкретных задач, которыми она занимается в искус-

стве, науке, философии и т. д. Она изучает «отвлеченное», а не осмысленно-предметное мышление. И оттого на ней лежит печать какой-то ненужности, и нельзя от нее провести нитей к тому, чем мы занимаемся в обыденной работе мысли. Не то было у немецких идеалистов начала XIX в. Они, может быть, излишне перегружали психологию мышления философскими элементами. Но по крайней мере они имели дело с тем мышлением, которое на самом деле «мыслит». Следуя их традиции, таким же образом подошел к мышлению и Потебня. Современные психологи только-только начинают выходить на аналогичный путь.

Исследования Потебни по истории мысли находятся как бы в точке скрещения двух течений мысли.

Одно из них чисто философское. Восходя еще к Канту, оно складывается из перепитий вопроса об изменяемости категорий познания. Вопрос этот, имеющий долгую и сложную историю, не раз обсуждался и после Потебни, нередко в его духе.

Другое течение—собственно научное.

Еще со времен Як. Гримма в языкознании установилась историческая точка зрения. Представители сравнительного языкознания, в числе прочих задач, к которым обязывал их исторический метод, стреми-

лись выяснить также эволюцию грамматических категорий. Распространен был сперва взгляд, что первичной категорией является глагол, потому что древнейшие корни в языке имели будто бы глагольную форму. Этот взгляд защищал у нас Буслаев в своем «Опыте исторической грамматики русского языка» (1858). В западно-европейской литературе он господствовал еще дольше и имеет там своих представителей и сейчас. Защитниками его были Макс Мюллер в своих «Лекциях по науке о языке» (1860), Л. Гейгер в сочинении «*Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache und Vernunft*» (1868), Л. Нуаре в книге «*Logos*» (1885) и др. Против исторического первенства глагола, защищавшегося этими учеными, и боролся Потебня, еще начиная с «Мысли и языка», а особенно в «Записках по русской грамматике». Еще при его жизни в языкознании произошел в рассматриваемом отношении переворот в пользу его взглядов на эволюцию частей речи. За более поздний характер глагола по сравнению с именами высказался Г. Пауль в «*Prinzipien der Sprachgeschichte*» (1886), сочинении, сделавшемся настольною книгой современных историков языка. Еще раз был пересмотрен этот вопрос и опять разрешен в духе Потебни в капитальном сочинении Вундта «*Völkerpsychologie*».

Работая в одном из двух только что рас-

смотренных течений мысли, ученые силовь и рядом ничего не знали и не думали о другом. Потебня не был из числа таких. Он вполне сознавал, что его исследования по истории языка обязывают к соответствующим взглядам и на эволюцию категорий мысли. В этом отношении он резко отличается, напр., от недавно умершего Вундта. В упомянутой «Народной психологии» он указывает на развитие языка от имен к глаголам, но в своей «Системе философии» высказывается против взгляда, что категория субстанции упраздняется по мере развития мысли. Такого дуализма не допускал Потебня. Он был не только языковед и мыслитель, а замечательный языковед-мыслитель. И может быть необычайной насыщенностью его лингвистических идей философским содержанием объясняется то, что лингвисты неохотно идут по его следам, а некоторые находят, что в его исследованиях об языке слишком большое внимание уделено мышлению и мало—собственно языку (школа Фортунатова). Так это или нет, покажет будущее развитие языкознания. Но во всяком случае и всегда русская наука будет гордиться этим замечательным человеком и ученым.

ССЫЛКИ.

- 1) Сборник «Памяти Александра Афанасьевича Потребни», Харьков, 1892, стр. 51. 2) Там же, стр. 20. 3) Свидетельство проф. Д. И. Багалея, сообщенное мне устно. 4) Сведения взяты из письма ко мне Б. А. Лезина из Харькова. 5) Биографические сведения см. в указанном харьковском сборнике, особенно в ст. Б. М. Ляпунова. 6) Заимствовано из предисловия г. Борисяка к книге Депере «Превращение животного мира». 7) В III части «Из записок по русской грамматике», 1899. 8) «Памяти А. А. Потребни», стр. 51. 9) Из автобиографии Потребни, напечатанной у Пыпина, «История русской этнографии» III, 423—424. 10) «Памяти А. А. Потребни» стр. 13. 11) Устное сообщение Д. Н. Овсяннико-Куликовского. 12) «Из записок по русской грамматике» 1899, ч. III, 502. 13) «Памяти А. А. Потребни», стр. 13. 14) Там же, стр. 17. 15) А. А. Потребня. «Из записок по теории словесности». 1905, стр. 393—394. 16) Там же, стр. 355. 17) Там же, стр. 114. 18) А. А. Потребня. «Из лекций по теории словесности», 1894, стр. 30. 19) «Из записок по теории словесности», стр. 127. 20) «Мысль и язык», 1913, стр. 212, примечание (статья «Язык и национальность»). 21) «Из записок по русской грамматике», ч. III, стр. 6. 22) «Из записок по теории словесности», стр. 50. 23) «Мысль и язык», 1913, стр. 224 (в статье «Язык и национальность»). 24) «Памяти А. А. Потребни», стр. 12.

- 25) «Мысль и язык», 1913, стр. 217—218. 26) Из предисловия г. Русова к переведенным Потебнею отрывкам из «Одиссеи», см. «Из записок по теории словесности», стр. 529—540. 27) Из статьи: «А. А. Потебня, как языковед-мыслитель», Киевская старина, 1893, VII, стр. 32. 28) «Памяти А. А. Потебни», стр. 16. 29) «Мысль и язык», 1913, стр. 166—167. 30) Из воспоминаний А. Г. Горнфельда, «Памяти А. А. Потебни», стр. 16. 31) Стихи 14—38 седьмой песни. 32) Письмо Л. Н. Толстого, к Фету от Дек. 1870 г. 33) «Памяти А. А. Потебни», стр. 12. 34) Там же, стр. 11. 35) Там же, стр. 50. 36) Там же, стр. 19. 37) Там же, стр. 50. 38) «Из записок по теории словесности», стр. 127. 39) «Этика», ч. V, схолия к положению, ст. 42. 40) «Из записок по теории словесности», стр. 157. 41) Там же, стр. 645. 42) Там же, стр. 150, примечание. 43) Там же, стр. 614—615. 44) «Памяти А. А. Потебни», стр. 13. 45) «Из запис. по теор. слов.», стр. 65. 46) Там же, стр. 612. 47) «Из лекций по теории словесности», 1894, стр. 97—98. 48) «Мысль и язык», 1913, стр. 38. 49) «Из записок по русской грамматике», III, стр. 588. 50) Там же, стр. 588. 51) «Мысль и язык», стр. 125. 52) «Из записок по теории словесности», стр. 512. 53) Там же, стр. 408. 54) Там же, стр. 429. 55) Там же, стр. 614—615. 56) «Мысль и язык», стр. 141. 57) «Памяти Потебни», стр. 68. Потебне не мало страниц посвящено Ягичем в его «Истории славянской филологии», 1910 г. У меня ее нет под рукою. 58) «Мысль и язык», стр. 167. 59) «Из записок по теории словесности», стр. 97. 60) «Из зап. по теор. слов.», стр. 102. 61) «Из лекций», стр. 66—67. 62) «Из зап. по теор. слов.», стр. 99. 63) Там же. 64) «Мысль и язык», стр. 166—167. 65) «Из записок по теории словесности стр. 65—66. 66) «Мысль и язык», стр. 121. 67) «Из записок по русской грамматике», 1874, т. I, стр. 115—116. 68) «Из записок по русской грамматике», т. VI (ч. III), 1899, стр. 2—3. 69) Из Положений к сочинению «Из записок по русской грамматике,

А. А. Потебни, приложенных к I тому, тезис 5.
70) «Из записок по русской грамматике», 1899, II
(ч. III), стр. 642. 71) Из тезисов к I т., тезис 5. 72) Эту
мысль Потебни я развил, основываясь на общем
духе его взглядов. 73) «Из записок по русской
грамматике», 1874, I, стр. 66 - 67.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Список печатных сочинений А. А. Потебни *).

1. *О некоторых символах в славянской народной поэзии.* Харьков, 1860, стр. 155. Магистерская диссертация.

2. *Мысль и язык.* Ряд статей в «Журн. Министерства Народн. Просв.», 1862 г. Были оттиски (191 стр.). Второе посмертное издание вышло в 1892 году. Третье—в 1913 г. Четвертое печатается Украинской Академией Наук (с осени 1921 г.).

3. *О связи некоторых представлений в языке в «Филологических записках»,* 1864 г., вып. III.

4. *О мифическом значении некоторых обрядов и поверий.* I. Рождественские обряды. II. Баба-яга. III. Змей, Волк, Ведьма (310 стр). Напечатано в 2 и 3 кн. «Чтений Московск. Общ. истории и древн.». 1865.

5. *Два исследования о звуках русского языка:* I. Полногласные. II. Звуковые особенности русских наречий. Напечат. в «Филологич. Зап.». 1864—65 г.; были оттиски (156 стр.).

*) Воспроизводим этот список с некоторыми сокращениями из сборника «Памяти А. А. Потебни». Список составлен профессором Н. Ф. Сумцовым. Мы кое-что прибавили к нему. Нумерация тоже наша.

6. Заметка на заметку о Кике в «Филологич. Зап.». 1865, I.

7. О доле и сродных с нею существах, напечат. в «Древностях Московск. Археол.», 1867, т. II; были оттиски (44 стр.).

8. О купальских огнях и сродных с ними представлениях, напечат. в «Археол. Вестнике» Московск. Археол. Общ., 1867; были оттиски (19 стр.).

9. К статье Афанасьева «Для Археологии русского быта», в «Древностях» Археологич. Общ., 1867, I, вып. 2.

10. Переправа через воду, как представление брака. «В Археолог. Вестн.», 1868, ноябрь—декабрь.

11. Заметки о малорусском наречии в «Филолог. Зап.», 1870 и отдельно 1871.

12. Из записок по русской грамматике.. I. Введение. Напечатано в «Филолог. Зап.» 1874 г.; были оттиски (стр. 157). II. Составные части предложения и их замены в русском языке. Напечат. в «Записках Харьковск. Университета» 1874 и отдельно (538 стр.). Обе части составили докторскую диссертацию. Второе издание, исправленное и дополненное, вышло в 1889 г.

13. К истории звуков русского языка. Первая часть печаталась в «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1873—74 г. и «Филолог. Зап.» 1875; вторая, третья и четвертая—в «Русском Филолог. Вестнике», 1880—1886 г.; затем вышли отдельно в 4 частях. В I ч. (243 стр.) «Наречия в древнем русском языке», «Начальное русское о = ст. слав. ѿ», три статьи о глухих звуках Ъ и Ь, статья о первом полногласии (оро-ра и пр.) и об этимологических различениях коренных гласных в глаголах; во II—IV разные этимологические заметки, одни вполне филологические, другие переходят в этнографические.

14. Орфографическая заметка о слитном употреблении отрицания не с глаголами, в «Филолог. Зап.», 1875, VI.

15. *Разбор книги П. Житецкого, «Обзор звуковой истории малорусского наречия», 1876, в «Отчете об Уваровских премиях».*
16. *Малорусская народная песня по списку XVI в. Текст и примечание. В «Филолог. Зап.», 1877; были оттиски (53 стр.).*
17. *Слово о полку Игореве. Текст и примечания в «Филолог. Зап.», 1877—78 и отдельно (158 стр.).*
18. *Разбор «Народных песен Галицкой и Угорской Руси» Головацкого, в 21 отчете об Уваровских премиях в 37 т. «Записок Академии Наук», 1878.*
19. *Некролог проф. М. А. Колосова в «Южн. Крае» за 1881 г., № 28.*
20. *Объяснения малорусских и сродных народных песен. Печатались в «Русск. Филолог. Вестнике» 1882—1887 г. В отдельности составили два толстых тома: I т. (1883 г.) веснянки (268 стр.); во II т. (1887) колядки (535 стр.).*
21. *Значение множественного числа в русском языке, в «Филолог. Зап.» и отдельно в 1882 г., 76 стр.*
22. *Сочинения Г. Ф. Квитки в 4 томах (1887—1890), вышли под редакцией А. А. Потебни.*
23. *Сочинения П. П. Артемовского-Гулака в V кн. «Киевской старины», с кратким предисловием и под ред. А. А. Потебни.*
24. *Степовы думы та спивы, Ивана Манджуры, 1889 г., под ред. А. А. Потебни.*
25. *Малорусские домашние лечебники XVIII в. с предисл. А. А. Потебни, «Киевская Старина», 1890, кн. I.*
26. *Сказки, пословицы и т. п., запис. И. И. Манджурой в «Сборн. Харьк. Истор.-филолог. Общества», 1890, под ред. А. А. Потебни.*
27. *Этимологические заметки в «Живой стрине», 1891, стр. 117—129.*
28. *Из лекций по теории словесности. Басня. Поговорка. Пословица. По записям слушательниц и заметкам автора. Ред. В. И. Харциев (168 стр.).*
29. *Язык и национальность, в «Вестн. Европы»,*

1895 г., IX, перепечатана в книге № 32, а позже в «Мысль и язык», 1913.

30. Отзыв о сочинении Соболевского: «Очерки по истории русского языка», 1896 г.

31. Из Записок по русской грамматике, ч. III. Об изменении значения и заменах существительного, стр. 674, 1899 г.

32. Из записок по теории словесности, 656 стр., 1905 г.

33. Черновые заметки о Л. Н. Толстом и Достоевском, нап. в «Вопросах теор. и психолог. творч.», т. V, 1913 (стр. 263—292).

СОДЕРЖАНИЕ.

	СТР.
Предисловие	5
Глава I. Рост известности Потебни	9
Русская судьба крупных деятелей. Ученая известность Потебни при его жизни в кругу специалистов. Университетская аудитория Потебни. Потебня на публичных лекциях в Харькове. Поминальная литература о Потебне. Роль Д. Н. Овсяннико-Куликовского в популяризации идей Потебни. Литература о Потебне в 900-ые годы. Тридцатилетие со дня смерти Потебни.	
Глава II. Потебня на фоне русской науки 60—80 гг.	17
Биографические сведения о Потебне. Два периода в развитии русской науки 60—80 гг. Наука 60—70 гг. Две ее главные особенности. Особенности науки 60-70 годов и одновременной деятельности Потебни. Черты, индивидуализирующие деятельность Потебни в 60—70 гг. Характер русской науки 70—80 гг. Его отражение в научной деятельности Потебни. Индивидуальные особенности Потебни на фоне нашей науки 70—80 гг. Задача следующих глав.	
Глава III. Личность Потебни	45
Господствующая психологическая особенность Потебни. Сосредоточенная серьез-	

ность и вечно-детское. Дар сочувственного понимания и юмор, доходящий до гневного сарказма. Склонность к высшим обобщениям и любовь к конкретным фактам. Элементы «прозы» и «поэзии» в мышлении Потебни. Перевод отрывков из «Одиссеи» с психологической стороны. Смысл психологических контрастов, присутствующих Потебне. Жизнеощущение Потебни. Идеал Спинозы. Отсутствие ретроспективности в жизнеощущении Потебни. Смысл истории. Будущее. Отношение Потебни к вере вообще и к вере в будущее в частности. Неизвестное.

Глава IV. Основные идеи Потебни 66

Философские воззрения Потебни. Мысль и слово. Две основные задачи научной деятельности Потебни. Теория поэзии и прозы. Художественное познание. Психология научного познания. Проблема эволюции речи-мысли. От имен к глаголу. История мысли и истина.

Глава V. Заключение. 92

Цельность и выдержанность научно-философской деятельности. Отношение исследований Потебни к соответствующим течениям научно-философской мысли. Теория поэзии и прозы в перспективе истории европейской науки. Философско-синтаксические исследования Потебни на фоне развития проблемы об эволюции категорий и эволюции частей речи. Потебня и текущие задачи языкознания.

Ссылки 102

Приложение 105

Список трудов Потебни в хронологическом порядке.



КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

„КОЛОС“

Петроград, пр. Володарского | Москва, Б. Никитская, 22.
(б. Литейный), 21, кв. 14. | Моховая, 20.

Тел. 5-66-23.

Тел. 54-89.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:

ВЫШЛИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ.

1. И. Н. Игнатов — „И. С. Тургенев“, 80 стр.
35 к.
 2. Е го - ж е — „П. С. Мочалов“, 64 стр. 30 к.
 3. Н. Е. Эфрос — „А. Н. Островский“, 112 стр.
40 к.
 4. В. В. Виноградов — „А. А. Шахматов“,
80 стр. 30 к.
 5. В. Н. Княжнин — „А. А. Блок“, 136 стр.
(распрод.).
 6. А. Е. Пресняков — „А. С. Лапко-Дани-
левский“, 94 стр. (распрод.).
 7. А. И. Огнев — „Л. М. Лопатин“, 64 стр.
30 к.
 8. Н. Д. Кондратьев — „М. И. Туган-Ба-
рановский“, 128 стр. 60 к.
 9. Л. М. Клейнборг — „Н. И. Зибер“, 96 стр.
(распрод.).
 10. Е го - ж е — „Г. З. Елисеев“, 112 стр. (рас-
продано).
 11. Б. М. Энгельгардт — „А. Н. Веселов-
ский“, 214 стр. 1 р.
 12. Т. И. Райнов — „А. А. Потебня“, 108 стр.
-